



Любимые

Наталья МОЛОВЦЕВА

ПЯТЬ  
СИНИХ СЛИВ

**Наталья Николаевна Молодцева**

# **Пять синих слив**

**Серия «Любимые»**

*Текст книги предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=39853535](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=39853535)*

*Пять синих слив. Повести, рассказы: Вече; Москва; 2020*

*ISBN 978-5-4484-8185-7*

## **Аннотация**

Он и она. Муж и жена. Их любовь – длиною в жизнь, но жизнь эта нелёгкая. Разные испытания выпадают на долю семьи: война-разлучница, безденежье, бытовые неурядицы и, наконец, немощная старость. Но всё можно преодолеть, и даже когда от усталости наступает-накатывает безысходность, могут случаться чудеса.

Через разные, но в чём-то очень схожие истории перед глазами читателя пролетает весь XX век: Революция, Отечественная война, рубеж нового тысячелетия. Меняются времена, но кое-что остаётся неизменным: умение любить, прощать, ждать, надеяться на лучшее и радоваться счастью, которое есть.

# Содержание

Берега вечности	4
Я здесь и живой	76
Конец ознакомительного фрагмента.	112

**Наталья Николаевна**

**Молодцева**

**Пять синих слив**

*Повести, рассказы*

**Берега вечности**

*Повесть*

Долго не могла понять, когда у меня появилось чувство (ощущение?) дороги. Что оно было – можно не сомневаться. Иначе как бы я, житель срединной России, оказалась на Колыме – не по принуждению (слава Богу – эти времена уже миновали), а по доброй волюшке, да еще хвастаясь в письмах самым дорогим адресатам: «Ваш друг уехал в Магадан – снимите шляпу»... Иначе как бы меня с Колымы занесло потом в Якутию, а потом опять на самый Дальний Восток – на Сахалин...

Что удивительно – все эти края я умудрилась полюбить. Хотя поначалу...

Поначалу среди колымских сопок я задыхалась. О нет, не недавнее мрачное историческое прошлое края служило тому причиной (об этом тогда я думала – увы – меньше всего);

причина была проста: привыкшая к среднерусской природе и ее спокойным ландшафтам, я натыкалась взглядом на сопки и, лишенная возможности скользить взглядом дальше, испытывала чувство несвободы, удушья. Пройдет немного времени, и я начну этими сопками восхищаться: какая непривычная красота, как стремительно – всего за пару недель – происходит здесь переход от зимы к весне, как упоителен запах молодой лиственницы, как сладка перезимовавшая под снегом брусника и голубика...

Якутия поначалу покажется еще более холодной, чем Колыма; здесь у меня родится дочка, и когда я буду, завернув в одеяло, вывозить ее на прогулку, сосед по семейному обществу дядя Ваня каждый раз не преминет произнести вслед: «Хороший хозяин в такой мороз собаку на улицу не выгонит», а я везла коляску по центральной улице поселка алмазодобытчиков – Айхала, – и было нам с дочкой хорошо, весело, бодро...

Но все-таки тянуло увидеть еще и новые края! Да и обстоятельства жизни сложились так, что из Якутии пришлось уехать на Сахалин. Первое чувство было: ну уж это я полюбить никак не смогу, сколько можно менять свои привязанности?! Еще одну любовь сердце просто не вместит...

Вместило! Сахалинские сопки оказалось полюбить даже легче. Они были покрыты не только лиственницей, но и привычными, милыми сердцу елочками, тополями, березками. А местная экзотика – гигантские папоротники и лопухи –

только добавляли чувству терпкости и шарма.

Мир бесконечен в своей красоте, – стало понятно в результате всех этих перемещений.

Однако красота не спасала от тоски.

Тоски по родине с маленькой буквы.

В каждый отпуск я летела домой как на крыльях. Каждый раз думала: вот доберусь до околицы родного села, Константиновки, упаду на землю, обниму ее и буду дышать и плакать...

Нет, конечно. Не падала – стеснялась. Да и встречающие родные обступали плотно...

А потом мы вернулись на материк (материком на восточном Севере называют все, что западнее Сибири). Но не в мою родную Мордовию, а на родину мужа, в края воронежские. Конечно же, семейная жизнь и работа не позволяли бывать в Константиновке часто, и мои свидания с родиной по-прежнему были редкими. И чувство это: обнять и плакать – по-прежнему не покидало меня...

А потом ни с того ни с сего стал сниться один и тот же сон: будто иду я берегом речки, небольшой и извилистой, и сердце полнится радостью узнавания. Словно каждый шаг приближает меня к самому дорогому, самому бесценному, что только может быть у человека.

Но ведь ничего дороже и роднее Константиновки для меня нет – расшифровывала я, проснувшись, свое сновидение. Значит, это она и должна быть там, впереди...

И вдруг однажды, когда наши дети стали уже взрослыми, мы с братом приехали – каждый из своего города – в родное село одновременно и одновременно же и дружно решили: съездим-ка еще и в Верхнюю Ладку!

Верхняя Ладка – родина мамы, бабушкина деревня. Маленькими мы часто туда ездили – мама с собой брала. О, эти поездки...

Чтобы попасть в бабушкину деревню, надо было вставать рано утром, идти на шоссейку (так мама называла большак) и голосовать попутным машинам. Пятнадцать километров – разве одолеть их маленьким ножкам?

Во времена нашего детства дорога – обычная проселочная – пролегла сразу за огородами. Она не была покрыта не только асфальтом, но даже щебенкой, и зимой, ранней весной и поздней осенью передвигаться по ней было сущим мучением. Но мы-то ездили к бабушке летом.

Ах, эта дорога... Две утрамбованных, накатанных колесами машин колеи гладки, как зеркало, и, как зеркало же, блестят. Если встать на них босыми ногами – ногам будет тепло и радостно, и захочется идти далеко-далеко...

Но мама с дороги гонит: вдруг машина, стой рядом. Или вон цветы в букет собирай.

Но зачем он мне, целый букет? Мне нужен один-единственный цветок. Я представления не имела о том, как он выглядит, но была уверена, что узнаю его. Почему? Да очень

просто: потому, что он не будет похож ни на какой другой! Такой цветок есть, он растет в укромном местечке, куда люди не догадываются заглянуть. Или им просто некогда. А вот я не поленюсь, переберу пальчиками каждую травинку и – найду его!

Почему я уверена, что он есть? Не знаю. Почему уверена, что найти его должна именно я? Не знаю тоже...

– Машина! Ну, уж эта остановится...

Машина действительно останавливается. Мы забираемся в кузов (легковушки в нашем детстве были в редкость). Какие просторы открываются оттуда, с высоты! В груди возникает блаженное чувство восторга: вот сейчас за поворотом откроется такое... такое...

Хотела ли я каких-то открытий сейчас, в эту вот намечавшуюся с братом и мамой поездку? Отнюдь. Наоборот – если душа чего-то и жаждала, то только одного: пусть все повторится! Пусть все будет как тогда, в детстве, – и ничегошеньки больше не надо...

...Но все было не так, как мы того хотели.

Мы не сразу это почувствовали.

Сразу было только предвкушение счастья. Вчера перед сном я воображала эту минуту, эту картину: вот мы доезжаем по шоссе до развилки дорог; повернешь направо – дорога приведет в Ладку, повернешь налево – попадешь в Верхнюю Ладку.

Верхняя Ладка – потому и Верхняя, что, чтобы увидеть ее, чтобы до нее добраться, надо прежде забраться на горушку. Это километра три-четыре от большака. Их мы преодолевали уже пешком. Три-четыре километра – это нам уже по силам, это уже можно и своими ножками.

Ах, какие блаженные это были минуты! Ласковое солнышко греет руки и плечи, ветерок шевелит и гладит наши волосы, а небо над головой такое высокое, и белые облака похожи на фей в пышных платьях... А цветы и травы пахнут так, что ты и себя воображаешь феей: дунь ветерок чуть сильнее – и ты улетишь к тем самым белым-белым облакам...

Теперь же, взрослыми, мы добираемся до бабушкиной деревни на машине брата. Жадно смотрим за окно: все ли там так, как было ТОГДА? Кажется – да. Майский день полетному тепел, небо распахнуто во всю ширину и глубину, белые облака застыли в сладкой истоме... Вот только ветерка в машине с капиталистическим названием «форд» мы не чувствуем; жаль, конечно, но вот уже, вот она – верхушка горы, сейчас мы выйдем наружу, и...

Там, внизу, в бабушкиной деревне, все было, на первый взгляд, как прежде: купы деревьев вдоль улиц, крыши домов. Есть среди них и тот, в котором нас всегда ласково и гостеприимно встречали...

Да, все как прежде. Даже трава под ногами – разлитым морем, и в ней уже можно найти и желтую кашку, и сирене-

вые часики, и синие васильки, и запах от нее такой, что кружится голова...

Отчего же чувство, что что-то все же не так? Чего все-таки не хватает?

Дороги. Туда, в детство, не было дороги. И не в каком-то там переносном смысле и значении, а в самом прямом, реальном: дорога оборвалась у кладбища.

Поначалу, впрочем, нас это вовсе не опечалило: мы и планировали зайти прежде всего сюда. А как иначе, если бабушка и дедушка давно уже здесь?

Кладбище (оно на самой макушке горушки – чтобы быть ближе к небу?..) тоже утопало в траве. Однако огороженные самыми разными оградками могилы были ухоженны. Вон возле одной из них сидит мужчина. Да как хорошо сидит – на крепкой лавочке, за крепким столом. Словно пришел к родителям в гости...

Мы не стали этому гостеванию мешать – поздоровались и прошли мимо.

А вот и дорогие нашему сердцу могилки...

На фотографии, что висит у нас в Константиновке, в родительском доме, бабушка и дед вместе. Здесь – каждый на своем месте. Только сейчас мне приходит в голову мысль: а ведь это, пожалуй, одна и та же фотография. Но там они – вместе, а здесь их разделили. Так сказать, в силу необходимости...

Когда я вернусь домой, я разыщу в одном из альбомов оригинал: небольшую фотографию, которая потом была увеличена – чтобы поместить на стену. И тут окажется, что на маленьком, еще не увеличенном снимке запечатлены, оказывается, не только бабушка и дед, но и их дети. Сыновей на фотографии нет, зато дочери – налицо: Даша, Анна, Мария.

Про дочерей, а также про то, почему на пожелтевшей карточке нет сыновей, потом. Сейчас – про бабушку с дедом.

Сколько раз я видела эту фотографию, столько раз удивлялась: этот бабушкин взгляд... Она смотрит на мир, как девочка – любопытно-вопрошающе. У дедушки взгляд совсем другой – из своего далека он глядит на нас строго, с прищуром, даже оценивающе, а в уголках рта заблудилась даже едва заметная усмешка. Что она означает: то, что фотографирование для него – пустое, зряшное дело, к которому не стоит относиться всерьез, или... пока я еще не знаю, что.

Зато по рассказам мамы мне известно другое: в день, когда бабушку пришли сватать, она... каталась на ледянке с горы. Потому что было ей, как считала мама, всего четырнадцать лет. Наверное, как посмотрела тогда Варенька на своих родителей, на своего жениха – любопытно-вопрошающе, – так и пронесла этот взгляд через всю жизнь. Получила ли она ответ хоть на один из своих вопросов?.. Не знаю. Вряд ли. Ведь спрашивала она только глазами. А люди и на произносимые вслух вопросы не всегда дают ответ...

Бабушка была смиренница (тоже мамино слово). Родители велели – пошла замуж. Встала к печи. К корыту. Пошла в огород и на колхозное поле. Мама рассказывает, что никогда никого из детей ничего делать бабушка не заставляла – все сама. Я однажды задумалась: горячей или хотя бы холодной воды из крана в ее доме не было. Посуду она мыла в тазике. Три раза в день: нагрей воды, помой, сполосни, протри... А сначала за водой сходи на родник... Еду готовила или в печи, или на загнетке печи – на таганке. А сначала наколи дров, растопи, потом поддерживай огонь. Это тебе не газ – повернул кран, и все дела.

И так – всю жизнь. А еще стирка, уборка, прополка немаленького огорода... А еще просо, рожь и свекла на колхозных полях. Где она брала на все терпения и сил?!

Кроме трех девочек, бабушка родила еще трех парней (и еще трое ребятшек умерли от болезней в младенчестве). И ни разу супруг не только не отвозил ее в роддом, но и бабу-ку-повитуху в дом не приглашал. Бабушка рожала, как и дела делала – сама. «Уйдет в чулан, постелет соломки, покроет ее ряднинкой. Глядишь – через какое-то время выходит со сверточком в руках. Полежит немного – и опять к печи»...

Дедушка же... о, дедушка... На фотографии супругам уже много лет, однако сколько силы (энергии – говорят сейчас) в дедушкином взгляде! А черты лица? Прямой, чисто славянский, с широкими раскрыльями, нос, высокий лоб, брови – вразлет... Возраст выдает разве что окладистая – лопатой –

борода. Но и та ему удивительно к лицу. «Бабы на него липли, как мухи на мед. Он мало того что красивый – грамотный был, умный»...

Вечером дед приходил домой, и смиренница-бабушка не спрашивала, где он там задержался. «Варенька, подавай ужинать!» И бабушка спешила к столу.

Теперь дедушка находится при бабушке неотлучно. Ужинать не просит...

«Да как же я по вас соскучилась! Да берите уж меня к себе! И простите, простите меня, дуру неразумную: только сейчас поняла, как больно, когда огорчают дети. А мы вас разве не огорчали?»...

Мама плачет, мы с братом стоим молча. День так хорош, что скорби у нас не получается. Я оправдываю себя тем, что бабушка с дедушкой не обидятся на нас. Разве когда обижались или – обижали? Ну, дед еще мог погрозить: «Где моя большая рукавица?» Рукавица у него была по руке – то есть, как и борода, с лопату, и мы, конечно, побаивались ее. Тем более что знали: все в доме делается по дедушкиному слову. И если он решится пустить рукавицу в ход – бабушка нам не защита. Не помню, однако, чтобы дело доходило до этого. Сама же бабушка... Помню только одно ее досадливое восклицание: если кому случалось намочить штаны, она с горечью произносила: «Озеро глубоко, до каких пор прудить будешь?» Других «ругательств» память не сохранила.

Зато хорошо сохранила другое. Мы приезжали – и она выставляла на стол пироги, лапшевник, печенные в печке и оттого особенно вкусные яйца. Попыхивал дымком ведерный самовар – как уютно булькал кипяток в подставленные стаканы! Как хорошо, дружно сидели за столом взрослые – дома, случалось, ругались насмерть, а здесь – смирные да благостные.

...Вот кресты. Вот могилы. Отчего же чувство, что они и сейчас нас ждут – там, в деревне?

Скорее, скорее в деревню!

Назад мы опять идем мимо сидящего у родительских могил мужчины. По его лицу видно, что он уже утолил первую жажду общения с ними и готов озаботиться нашими делами. «В деревню? Так вы здесь не проедете. Вам лучше бы в объезд и заехать с другого конца».

Как не проедем? Всегда проезжали, всегда заезжали именно с этой стороны: сначала по улице, два порядка которой стоят вдоль оврага, по обеим его сторонам; в конце поворачиваем на свою, вернее, бабушкину улицу. На ней – всего один порядок. На месте другого – сады. В саду у каждого – свой подвал. В его прохладной темноте стоят лари с зерном, с мукой, да мало ли с чем еще, что надо держать именно в прохладе. Как любили мы в детстве забираться в эти подвалы! Зайдешь – тебя обдаст холодом, а заберешься под одеяло (летом в подвале коротали обеденный сон, скрываясь от жа-

ры) – сразу тепло и уютно... Нет, мужчина, видно, не знает всего этого, ошибается, что-то путает...

И мы поехали по едва угадываемой в траве колее. Машина петляла, то и дело соскальзывая в замаскированные травой ямины и колдобины, но все-таки продвигалась вперед. Вот и улица с двумя порядками. В детстве сюда мы ходили редко; может быть, потому, что боялись оврага? Мало ли что могло таиться в его таинственной глубине... Этим я поначалу и объяснила возникшее в груди странное чувство. Странность заключалась в том, что дома, мимо которых мы ехали, показались мне... неживыми. Никто не ходил по двору – ни курица, ни собака, ни кошка. Ниоткуда не раздавалось ни звука – ни лая, ни петушиного крика, ни человеческого голоса. Глухая, вязкая тишина. Как в фильмах Тарковского. Да и то – там хоть вода иногда прожурчит, капля капнет, подчеркивая глубину безмолвия. Здесь – ничего...

Доехали до конца. Сердце, несмотря ни на что, замерло в предвкушении счастья: сейчас, сейчас будем сворачивать на свою улицу...

Однако там, где она должна начаться, не было уже даже намека на колею. Зато трава стояла глухой стеной. Брат оставил машину и задумчиво произнес:

– Пойду посмотрю дорогу.

Вернулся он буквально через минуту. И сказал, как нам показалось, чушь:

– Дальше ехать нельзя. Там болото – увязнем.

Болото? Какое может быть болото на бабушкиной улице, если его там никогда не было?!

Мы постояли какое-то время, привыкая к невозможному. Наконец брат принял решение:

– Придется возвращаться к могилам. И ехать в объезд.

Мужчина по-прежнему сидел на скамейке возле родительских могил, и нам было стыдно встречаться с ним глазами: вот не поверили, а все оказалось так, как он говорил...

Полевая дорога действительно оказалась проезжей – машина бойко бежала, оставляя позади себя густой шлейф пыли. Мама горевала: «Говорили мне, что только три человека на всю деревню остались: дачник с женой да Дуся. Не верила!» Не верили и мы. Мы так хотели, чтобы бабушкина деревня была обитаемой! А дядя Федя на деревянной ноге? Одна нога у него нормальная, как у всех, а другую он потерял на войне; вместо нее к култышке (она начиналась от колена) привязана не им ли самим сделанная из дерева нога. Он так и ходил: ступая сначала здоровой, потом подтягивая к ней деревянную ногу. Дядя Федя держал пчел: в его саду стояли ульи с маленькими крылатыми тварями, которых мы страсть как боялись и которые – случалось – жалили нас прямо в физиономию или открытые части рук. И уж какую боль тогда приходилось терпеть! Зато и медком пчеловод нас угощал. Ах, какой неповторимый вкус был у этого меда! Редко видевшие конфетки, мы испытывали блаженство, вкушая в

вишневом саду дяди Феди густую янтарную сладость...

А жена дяди Феди – Фрося-большая (в деревне была еще Фрося-маленькая, но я ее почему-то запомнила меньше – наверное, потому, что она жила дальше по улице, куда нам не всегда разрешали ходить), жена дяди Феди Фрося-большая частенько угощала нас пирогами. Она и впрямь была большая: широка в плечах и бедрах, с крепкими руками, ростом только чуть пониже супруга. Другой жены при инвалиде-муже, казалось, и быть не могло...

А бабушкины соседи – тетя Катя и дед Никита? Она – маленькая, сухонькая, со слабым голоском, а он – могучий, как наш дед Антон, только борода – белая...

Мы понимали, конечно, что все эти люди уже давно лежат там, где и наши дедушка с бабушкой, но душа жаждала чуда.

И оно, кажется, произошло...

Сколько слов затратила одна из моих продвинутых подруг, чтобы растолковать: время – не в земном, а в космическом значении и измерении – не имеет линейной протяженности; прошлое, настоящее, будущее существуют одновременно, здесь и сейчас. Я ничегошеньки не понимала. Добросовестно напрягала мозги и... ничего не могла сложить. Как это – одновременно?! Все имеет начало и конец. Каждое событие протяженно во времени. Например, люди – рождаются, живут, уходят. В вечность. Насовсем. И тут уж кричи не кричи, зови не зови...

Отчего же в этой поездке мне стало казаться, причем самым обычным, самым прозаическим образом, что мы все – и живущие, и ушедшие – вместе?

Возможно, это чувство появилось у меня еще на кладбище, где нашим глазам предстала такая картина: тополя, посаженные возле могил дедушки и бабушки, вросли в железную плоть загородки, поднялись над ней и ушли макушками в небо, соединив собой две стихии: земную и небесную. Глаза невольно скользили по стволам туда – вверх, ввысь, а вслед за ними ввысь устремлялась и душа. И что-то такое в душе происходило, от чего они, ушедшие, стали вдруг так близки...

Но вот, наконец, мы и на бабушкиной улице. В самом ее начале.

Почему брат опять остановил машину?

– Выгружайся. Приехали.

– Почему? – недоумеваю я. – До бабушкиного дома еще далеко.

– Ты видишь, какая трава? Бампер снесем.

И мы вышли в траву.

Сколько раз я рисовала в воображении и эту картину: приедем в бабушкину деревню, и я бегу за огороды – вот где трава так трава! Когда-то я в ней утопала с головой, даже страшно становилось: а вдруг заплутаюсь, и меня не найдут?! Но сейчас-то, сейчас она мне будет просто по колени. И пой-

ду я по ней уже без страха, а только испытывая радость, а потом упаду и буду смотреть в небо...

И вот оказалось, что трава – это не всегда хорошо. Одно дело, когда она за огородами. Но когда она поглотила собой проселочную дорогу, да что дорогу – всю улицу... когда мешает идти, настойчиво цепляясь за ноги...

Мы шли, преодолевая это сопротивление. Мама недоумевала:

– Господи, да по родной ли улице я иду? Бывало, мы здесь не ходили – летали...

Все было не так, но я говорила себе: подожди, вот сейчас придем к бабушкиному дому. Зайдем во двор... Помнишь, ты бегала там когда-то в розовой кофте?

Ах, эта розовая кофта! Было ли для меня в детстве что-то более красивое, чем она?!

Кофта принадлежала старшей маминой сестре и бабушкиной дочери – Марии. Тетенька – так называли ее мы, дети. Тетенька была рукодельницей – пожалуй, только она одна из трех сестер умела хорошо шить, и кофту (слова «блузка» мы тогда не знали), как и все другие свои наряды, сшила своими руками. Кофта была ни с чем не сравнимым чудом: из невестомого легкого шелка (все наши платья были ситцевыми, в лучшем случае – штапельными), а главное – празднично яркого – розового – цвета. Как только мы приезжали к бабушке, я шептала маме на ухо: «Скажи ей – пусть даст поносить».

Мама говорила. Тетенька охотно снимала кофту и наде-

вала другую:

– На уж, пофорси.

Я тоже совершала обряд переодевания, по ходу его превращаясь из деревенской девочки в барыню, принцессу, королеву – кто там еще мог носить такой роскошный наряд?!

Взрослые смотрели, улыбаясь...

Тетенька была горбатенькой. В детстве она упала, поскользнувшись на льду. Ну, упала и упала, боль пройдет, – рассудили все. И она прошла, конечно. Только на месте ушиба стал расти горбик.

Бабушка сильно переживала, а тетеньку ее горбик, похоже, никогда не смущал. С детства и посе́йчас помню: там, где появлялась тетенька, там появлялось солнышко. Что мама, что другая сестра – Даша (Дашенька – звали ее в семье) – были сдержанными и на слова, и на чувства, а тетенька всегда находила повод для шутки и смеха. Помню праздники, когда к нам съезжались гости. На столе – пироги и всякое другое угощение, мужики уже «разговелись», ведут разговор об урожае, погоде и политике, но... чего-то все-таки не хватает в застолье. Но вот открывается дверь, заходит тетенька. И сразу становится понятно, чего: веселого, ласкового, беззаботного голоса ее, без которого праздник – не праздник! Ни единого словечка не помню из того, что она говорила, но вот эту интонацию, эту доброжелательность, эту любовь ко всем сидящим за столом – разве можно забыть?..

Тетенькин горбик, похоже, не смущал не только ее саму.

Мама рассказывает, что за няней (старшая дочь в семье для всех остальных детей всегда была няней) ухаживали самые видные деревенские парни. Но замуж она вышла не за своего, деревенского, а по месту работы.

Работать, как и жить, тетенька устроилась в райцентре, где была швейная мастерская.

Я помню, кажется, все домики, в которых она жила. Почему «домики», а не «домик»? Потому что тетенька время от времени их меняла. Сдается мне, что таким образом она стремилась, как принято теперь говорить, переменить свою жизнь к лучшему. А может быть, так проявлялась неумность ее натуры. Как бы то ни было – только с переменой места в тетенькиной жизни мало что менялось: новый домик оказывался таким же маленьким, чаще всего это была даже половина домика, с двумя крошечными комнатами. Правда, тетенька умела их сделать уютными и красивыми. На окнах у нее всегда красовались выбитые занавески. Переход из одной комнатки в другую совершался через занавесь с непривычными для нашего сельского быта кистями. Кровать была застелена ярким цветастым покрывалом...

Однако я собиралась рассказать о тетенькином замужестве. Замуж она вышла за высокого, красивого парня, работавшего сапожником в комбинате бытового обслуживания, к которому относилась ее швейная мастерская. С началом войны мужа забрали на фронт. Уже без него тетенька родила сына, который со временем тоже стал высоким, красивым

парнем. А отец...

С войны он вернулся. Но семейную жизнь начал уже с другой женщиной. Видно, нашептал кто-то: ты вон какой молодец, а она...

Через полтора года кто-то привез в деревню весть: Марусин-то муж, который завел другую семью, того... повесился... Почему? Отчего? Точного ответа не знал никто. Я же была уверена всегда: да потому, что нашу тетеньку не смог забыть!..

Оставшись уже не только на годы войны, но и насовсем одна, тетенька по-прежнему продолжала работать в швейной мастерской. А сын, Вова, все детство прожил у бабушки с дедушкой.

Это он рвал нам черемуху...

Черемуха и малина – сейчас я их увижу! Пусть улица заросла травой, но с черемухой ей не справиться! Черемуховое дерево росло в огороде и было таким высоким, что никто из взрослых тогда, в нашем детстве, и не помышлял забираться на него. Когда поспевали ягоды, посылали Вову; он срывал пахучие кисти прямо с веткой («буду я вам с ягодами возиться...»), и мы ели черемуху, сидя на крыльце, упиваясь ее необычным вкусом (дома у нас черемухи не было) и ароматом.

Неподалеку от черемухи стояла бабушкина баня. Когда мы приезжали в гости, она непременно топилась, и мылись в

ней по очереди: сначала женщины, потом мужчины. Помню – мама напарит, набьет тебя веником, станет так жарко, что сил нет терпеть, и ты выбегаешь наружу – остыть. А здесь, на улице, пахнет все той же черемухой, малиной, прямо у тропинки теснится крапива, и ты, конечно, непременно заденешь за нее рукой или ногой и принимаешься тереть слюной обожженное место...

После бани бабы (так они называют себя сами) сидят в доме (теперь моются мужики) благостные, разморенные. Мама чешет волосы большим деревянным гребнем (у нас дома такого нет, у бабушки – есть), няня Даша просто сидит, отдыхая и дожидаясь своей очереди расчесать голову бабушкиным гребнем. Неутомимая тетенька собирает на стол. Сестры тихонько переговариваются, в доме всюду звенит сверчок, а бабушка... Бабушка уже пьет чай. Честно сказать, я не понимала, зачем его надо пить – уж очень хотелось спать. Но бабушка сидит за столом, чинно держит блюдечко рукой и шумно прихлебывает чай с малиной...

О, эта малина! Нигде, никогда не ела я больше такой сладкой малины! Мы, дети, приехав к бабушке, забирались в ее заросли и готовы были пропадать там весь день до вечера, отчего взрослые вынуждены были пускаться на хитрости. «А медведь-то... Видали – медведь с той стороны в малинник зашел?» – слышу и посеёчас тети-Дашин голос.

Тетя Даша, в отличие от сестер Марии и Анны, нашей мамы, вышедшей замуж в другое село, никогда из родной де-

ревни не уезжала. Вернее, так: она тоже вышла замуж в соседнее село, но прожила там недолго, убежала от мужа-пьянчуги назад в родительский дом. Через какое-то время вышла замуж опять – за своего, деревенского. Они с дядей Шурой поставили собственный дом, и стоял он на той же улице, что и родительский, но все им на новом месте казалось не так: и огород не такой, и малина плохо растет, а уж черемуха вообще приживаться не хочет... Дело кончилось тем, что дом свой они... разобрали и перенесли на место родительского.

Конечно, все было не так просто. К этому привела целая цепь событий: умер дедушка, а старенькая, больная бабушка уже не могла жить одна в старом, обветшавшем доме. Но дочь и зять могли ведь просто забрать бабушку к себе. Однако супругам, и прежде всего тете Даше, захотелось вернуться на место, где она родилась и выросла и где прошла жизнь ее матери и отца.

...Они и сейчас вместе: отплакав на родительских могилах, мама пошла к Дашеньке – вместе с мужем дядей Шурой они покоятся рядом, по соседству.

...Прошли дом дяди Феди и Фроси-большой. Вот уже дом бабушкиных соседей – слабоголосой тетки Кати и белобородого деда Никиты. Сейчас, сейчас мы зайдем на НАШ двор...

Потрясение было, пожалуй, даже сильнее, чем от преградившего путь болота. Двор был диким. Двор – по колено –

тоже зарос травой. Трава «съела» тропки в хлев и на огород, в ней утонули стоящие у загородки старенькие стул и табуретка. А уж как буйно она разрослась в огороде, на некогда возделываемой земле! Какая там малина – трава, кругом одна трава! И я с благоговением вспоминала ее? Мечтала в нее упасть и смотреть в небо? Да она – прожорливая, бесчувственная тварь, способная проглотить и перемолоть все: стулья, дома, малину, черемуху. Память...

Дом был закрыт (мы и знали, что будет закрыт: Дашенькины дети давно живут в городе).

Мы знали, что никто нас не встретит.

Но чтобы все было вот ТАК...

И если уж нам с братом, когда-то приезжавшим сюда только в гости, настолько не по себе, то что должна чувствовать сейчас мама?

Мама ходит и ходит по двору, будто что потеряла и надеется потерянное найти.

...В первый раз она уехала из родной деревни не по своей воле. В первый же год войны ее вместе с подружкой – Феней – увезли в Саров, чтобы обучать слесарному да токарному делу. До сих пор никуда из деревни она не уезжала, разве что в Ладу, на родину своей мамы. Ну так Лада – дело привычное: там она с братом училась и жила до седьмого класса (в Верхней Ладке была только начальная школа). А тут надо ехать за тысячу верст (сколько их было на самом деле, она

не знала и знать не хотела; если ехать на поезде, да не одни сутки, – это, по ее представлениям, было краем света и составляло не менее тысячи верст). Но деться было некуда. Да и понимала она, что мужики на войне, что надо кому-то делать за них их мужскую работу. Только вот поделаться с собой ничего не могла: мужицкие профессии не хотели ей поддаваться. И домой хотелось – невмоготу. Родная деревня снилась ей по ночам: вот приходят они, девчонки, с поля, где пололи просо, и она говорит себе: все, никуда больше сегодня не пойду, отосплюсь. Но заиграла на улице гармонь – и куда девалась усталость: ноги сами бежали на улицу... Феня, подружка, была такой же. И что же они задумали? Когда курсы, с грехом пополам, были закончены и посадили их в поезд, чтобы везти еще дальше, к месту работы, на Урал, – решили они с Феней сбежать. Пошли будто бы в туалет, а сами – шмыг из вагона на платформу и – дай бог ноги...

Домой добирались недели две, не меньше. Шли ночью, крадучись, а днем отсыпались в стогах соломы. Потом еще и дома боялись – а ну как арестуют по военному времени.

Вместо ареста их снова увезли – на этот раз валить лес. До осени девчонки пластались на лесоповале – и сбежали опять: домой тянуло, как магнитом, и ничего с этим поделаться они не могли.

В третий раз наша будущая мама уехала из дома уже по своей воле: написала заявление в педучилище. Рассудила так: все одно из деревни куда-нибудь опять заберут, так уж

лучше куда поближе, да выучиться на учительницу, да приехать работать в родную деревню...

И все получилось, как она рассудила: училась не за тридевять земель – в Ичалках, всего-то в полутора десятках километров от Верхней Ладки; кончив училище, стала учительницей начальных классов. Вот только работать ее направили не в родную деревню, а в Константиновку – село в соседнем районе (но опять же – не за тридевять земель!). Здесь она вышла замуж. Здесь мы с братом появились на свет. Отсюда мы и ездили в детстве к дедушке с бабушкой. Мы с мамой. И еще вопрос, кто больше рвался в эти поездки – мы или она.

Взять хотя бы и эту нашу поездку: каждое лето мама просила: «Давайте съездим в деревню», а мы ссылались то на усталость, то на то, что отпуск только начался, а потом на то, что уже кончается...

Сегодня утром она встала и решительно сказала: едем. Я, хоть и настроена была на поездку, опять попробовала оттянуть момент: «Да подождите, дайте от поезда отдохнуть». Мама ничего в ответ не сказала, просто села на табуретку и стала ждать. Я подумала-подумала, еще раз посмотрела на нее и стала собираться.

Я тоже хожу по двору и тоже будто чего-то ищу... И вдруг явственно вспоминаю свой сон: я иду по берегу неширокой и извилистой речки, иду и чувствую, что скоро, совсем скоро увижу что-то очень дорогое и радостное для меня. То, что

согреет душу и сердце. И это будет... нет, не Константиновка. Это будет что-то такое, что я долго помнила и знала, но потом почему-то забыла. А надо, ох как надо вспомнить...

Озеро! Я понимаю вдруг, что именно я должна увидеть: озеро. Это оно маячило во сне, но мне почему-то никак не удавалось до него добраться, а сейчас оно совсем рядом – надо только завернуть за соседний дом и пойти по тропке туда, где кончается соседский огород. Сначала на пути встретится родник. Вот ведь как: в городе, где я теперь живу, за родниковой водой надо ехать несколько километров, а тут прозрачная, не испорченная железом и ржавчиной, целебная вода – рядом. Пейте, люди!

Некому стало пить...

С родником я, конечно, поздравляюсь. И пойду дальше. К нему, к озеру, куда в детстве мы часто бегали купаться и... надо ли рассказывать, какое неизъяснимое блаженство испытывали при этом?

...А однажды я пришла сюда в предвечернюю пору одна. Если одна – значит, уже ходила в школу. И скорее всего, класс в третий-четвертый. Уже была изношена розовая кофта. Привычно сбросила ситцевое платье, вошла в воду и поплыла. Наверное, поначалу я никуда не смотрела: ни вверх, ни вниз, ни по сторонам. Плыла себе да плыла, наслаждаясь особым вечерним состоянием воды и воздуха – они были одинаково теплыми, одинаково ласковыми. Много позже, будучи уже взрослой и научившейся всему находить причи-

ны, в «Розе мира» у Даниила Андреева я найду такое объяснение этому феномену: оказывается, именно в это время суток – вечером – небесные силы (стихиали – называет их Андреев) бывают особенно добрыми к человеку. В чем я не раз убеждалась и сама: если выходить на вечернюю прогулку, когда день уже начинает меркнуть, но до темноты еще далеко, – вокруг тебя возникает совершенно необычная аура: воздух становится особенно легким и ласковым, а с неба нисходит благодать – другое слово не способно передать чувство, которое возникает в благодарной душе в эти минуты.

Но тогда, в золотом своем детстве, ничего этого я не знала, плыла себе да плыла, ощущая каждой клеточкой ласку воды и воздуха. И вдруг...

Я посмотрела вниз, в воду перед собой, и обмерла от ужаса: внизу я увидела... такое же небо и облака, как и над моей головой. Но страшно было не это. Страшно было то, что до них было так же отчаянно далеко!

Я чувствовала себя плывущей между двумя безднами. Одна бездна – вверху, другая – внизу. И я между ними такая маленькая... такая... да меня почти нет! Еще секунда – и я утону, растворюсь в этих безднах окончательно! Они меня проглотят, как птичка глотает комара...

Нет, нет, не хочу! Я должна скорее найти точку опоры! Я должна скорее плыть к берегу!

И я поплыла, задыхаясь от ужаса, отчаянно взмахивая руками.

И когда вышла, наконец, на твердую, надежную кромку берега, мир в ту же секунду обрел обычные, спокойные очертания: бездна внизу исчезла. А та, что была над головой – она привычна, она не страшна.

Под ногами снова была земля – упругая, теплая, дарящая чувство надежности и защищенности от сквозняка беспредельности.

Наверное, именно тогда – впервые – мир явил мне свою бесконечность.

И я испугалась.

Тогда я еще не знала, что такую же беспредельность может таить в себе человеческая судьба.

Конечно же, о пережитом я никому ничего не сказала. Да и кому я могла сказать? Взрослые были заняты своими взрослыми делами (чем накормить, во что одеть – ах, какие скучные, какие несерьезные это дела!). Бабушка... Бабушка, казалось мне, меньше всего могла развеять мой страх и разрешить неразрешимые вопросы. На малограмотную бабушку я поглядывала с высоты своего школьного образования и с течением времени только сильнее утверждалась в мысли, что ее понимание жизни безнадежно устарело. Что она читала в этой своей жизни? Только Библию. Чем была занята? Только домашними делами – с утра до вечера.

Впрочем, было у нее еще одно занятие, которое она считала безусловно важным: если нечаянно проснуться рано

утром, всегда и непременно увидишь бабушку стоящей на коленях – она молится. И день свой она заканчивала тем же.

Об этом мы постоянно спорили. Вернее, мы не спорили никогда: смиренница-бабушка не вступала в противоречия даже с внуками. Поэтому вернее будет сказать так: мы с бабушкой вели постоянный, нескончаемый диалог. И иногда своим тихим голосом (тихим – вовсе не значит «слабым», в голосе бабушки ненавязчиво, но четко звучала явственно твердая нотка), иногда своим тихим голосом она говорила такое, что я почему-то помню до сих пор...

– Бабушка, а ты знаешь, что Гагарин летал в космос? И никакого Бога там не видел.

Бабушка молчит. Я уверена, что возразить ей нечего! Но она неожиданно спрашивает:

– А ты там была с ним, с Гагариным?

– Ну, бабушка...

– Ну вот, не была, а говоришь.

– Но ведь об этом написано во всех газетах!

– А им что – всегда можно верить, твоим газетам?

Моим, конечно, моим... Моей профессией станет как раз газетная работа, и при всей любви к ней жизнь заставит меня не раз и не два убеждаться, что – да – не всегда дорогим моему сердцу газетам можно верить.

Но это сейчас я так думаю, а тогда... Тогда я даже не считала нужным продолжать с бабушкой диалог. «Но ты, ты-то тоже не была – и значит, ничего доказать не можешь!» – мыс-

ленно возражала я бабушке. Мы думаем каждая свои мысли – до следующего раза.

Следующий раз был таким: сiju, учу стихотворение:

Да, были люди в наше время,  
Не то, что нынешнее племя:  
Богатыри – не вы!  
Плохая им досталась доля,  
Не многие вернулись с поля...  
Не будь на то Господня воля —  
Не отдали б Москвы...

– Ну вот, а ты говоришь – Бога нет, – раздается за моей спиной тихий бабушкин голос.

– Когда он жил, Лермонтов? – уверенно (самоуверенно?) возражаю я бабушке. – Тогда люди имели неправильное представление о мире. Тогда Гагарин еще не летал.

Теперь же я спрашиваю себя: а может, как раз-то бабушка имела более разумное представление не только о газетах, но и о так занимавшем меня вопросе об устройстве мира? О самой вечности?

Мама рассказывает: когда дедушка заболел и всем стало понятно, что от болезни он уже не оправится, бабушка сказала ему:

– Что же ты про Бога не вспомнишь, ведь тебе скоро представлять перед Ним.

Она верила (знала?), что смертью человеческая жизнь не

заканчивается?..

Похоже, дедушка ее убеждение разделял. Потому что ответил так:

– Знаю: много грешен. Но ведь мы своим детям прощаем все. А мы – Его дети...

Дедушке было что прощать. И пора уже, пора переходить к рассказу об их сыновьях.

Сыновей у бабушки с дедушкой тоже было трое. Николай, Алексей, Василий.

Двух первых я никогда не видала. Их унесла война. А я родилась позже.

Бабушку про них я тоже никогда не спрашивала. О, как прав был мой любимый писатель, когда говорил: «...Нас, стариков, разделяет от молодых завеса прошлого, которая так висит, как бывает кисейная занавеска в комнате. От нас изнутри к ним наружу видно, а от них к нам в комнату ничего видеть нельзя». Тогда я была в возрасте, когда «в комнату ничего видеть нельзя». Потому что своя, начинающаяся жизнь занимательней и интересней всего остального...

И поэтому все, чем я располагаю – это, опять же, рассказы мамы. «Алексей был как девочка – мыл полы, посуду. Мы пока-то сообразили, что маме надо помогать, а он делал это с малых лет, без всякого с ее стороны принуждения. А потом Лешенька вырос. И пошел однажды в карты играть. Тятя его за этим делом застал да так отругал! Алексей же так обидел-

ся, что ушел из дома. Мало того – из деревни уехал. Потом уж нам сказали, что видели его в Нижнем. Мама с тятьей поехали туда. Нашли. Только Алексей домой возвращаться не захотел. И на войну его забрали оттуда, из Нижнего...

А Николая у нас был талант. Играл на гармонии. Рисовал – у него получались даже портреты. Обувку умел хорошо чинить. Он бы и новую шил, да где денег на материал возьмешь? Вот как война началась, его и забрали в Москву – на обувные работы. Домой он писал: „Живу хорошо, кормят нормально“. А потом получаем письмо уже не от него, а от неизвестного нам человека: „Ваш сын и брат заболел и умер“. Мама забралась на печь и неделю пролежала с температурой под сорок...»

Однажды, в очередной раз рассматривая фотографии (их и в альбомах, и просто в бумажных конвертах в бабушкином доме хранится множество), я увидела на одном из снимков незнакомого молодого мужчину. «Кто это?» «Да это Николая и есть».

Умное, тонкое, интеллигентное лицо с преобладанием бабушкиных черт. Но губы сжаты по-мужски твердо. И лоб высокий, как у отца.

Фотография была прислана из Москвы. На обратной стороне – дата: 26 мая 1943 года. Видимо, Николая уже болел – глаза смотрят печально. Видимо, он все понимал относительно своего ближайшего будущего, осознавал, что эта фотография – прощальная. Потому и обычные на обратной сто-

роне слова – «На долгую и добрую память» – читаются в их прямом смысле, как последнее волеизъявление.

И в то же время в глазах бабушкиного сына и моего дяди горит огонь: огонь молодой, многообещающей жизни! Если бы он вернулся с войны – кем бы он эту жизнь прожил? Художником? Просто хорошим сапожным мастером? Одно можно сказать наверняка: никого никогда он не смог бы обидеть. Люди с такими глазами призваны нести в мир свет и любовь...

Алексей же... Каких разных сыновей нарожала ты, бабушка! Непокорный Алексей после первой ссоры с отцом в деревню, оказывается, все-таки приезжал! Во время войны. На побывку. И умудрился поссориться с отцом опять...

Здесь я должна признаться вот в чем: о некоторых эпизодах из жизни своих навсегда оставшихся молодыми дядьев я рассказала в одном из своих рассказов. В том числе – и о том, как Алексей приезжал с фронта домой. Там, в рассказе, я нашла-придумала его ссоре с отцом объяснение, возможно, очень близкое к истине: страдание (война – разве не страдание?) не только возвышает, но порой и ожесточает человеческую душу. А вот как было на самом деле? Возможно, именно так. А возможно, здесь был извечный конфликт отцов и детей: выросший старший сын захотел жить по своей, а не отцовой воле. А уж воля у дедушки была...

Мама рассказывает: в войну вся деревня жила впроголодь, но дедушка... дедушка-то ведь работал колхозным завхо-

зом! А на складе всегда хранилось что-нибудь из того, что должно было отправляться из деревни под девизом: «Все для фронта, все для победы». «Принес бы хоть горсть гороху – все суп запашистей будет», – просила бабушка. «Цыц», – звучало в ответ. А вот послевоенный эпизод: в колхоз приехала комиссия из района, которой требовалось преподнести деревенский подарок. «Посылает меня тятя со счетоводом на склад: идите, наложите банку меда». Пошли. Наложили. И хоть бы чуть домой взяли! Хоть бы ложечку сами съели! Знали: тятя узнает – «голову оторвет»...

И вот приезжает с фронта старший сынок, и в чем-то с отцом у него опять получается разногласие. И вместо того, чтобы уступить, Алексей вынимает из кобуры наган: «Я вам уже не мальчишка! Хватит меня учить, я сам кого хочешь...»

Дедушка, чтобы не усугублять разногласий, вышел из дома и залег в картофельные грядки. И пролежал там до утра. Что он передумал за эту ночь? Что перечувствовал?..

Так что было, было ему что прощать своему старшему сыну...

А помириться им так и не пришлось. Потому что сын с войны не вернулся.

Это она, война, причиной тому, что на семейной фотографии нет двух старших бабушкиных и дедушкиных сыновей. Она же причина скорби, застывшей в бабушкиных губах...

А третьего сына, Василия, нет здесь совсем по другой при-

чине. Третий, самый младший бабушкин сын для войны, для боев оказался недостаточно взрослым. Потому и остался жив. Но на момент фотографирования дома его не оказалось – он уже жил и учился в большом городе, далеко от родной деревни.

«10 сентября 1947 года», – значит на обратной стороне снимка, где запечатлены бабушка и дедушка с дочерьми. Как жаль, что фотограф не появился в деревне раньше, во время летних студенческих каникул, – тогда можно было бы посмотреть на крестного (третий сын супругов Мещеряковых – Василий – был дядей и моим крестным отцом) в студенчестве. Но поскольку я его многие годы знала и хорошо помню, то могу утверждать, что с Николой они были очень похожи – оба имеют больше материнских, чем отцовских черт. И оба, похоже, унаследовали бабушкину доброту. Плюс – дедушкин твердый характер. Что и явствует из рассказа мамы: «Вася от меня нигде не отставал. Я на поле собирать мерзлую картошку – и он со мной. Я в школу пошла – и он со мной, хотя мне было уже восемь, а ему только шесть лет. Мы и в Ладе учились вместе. Бывало, я, как старшая, делю вечером хлеб, стараюсь дать ему кусочек побольше. А он мне непременно его вернет и возьмет тот, что поменьше»...

Еще сестра вспоминает, как в войну, когда она уже училась в педучилище, младший брат приносил ей однажды сушеной свеклы – сладкого военного лакомства. Кажется – что тут особенного? Ничего, конечно. Кроме того, что гостинец

пришлось нести... полтора десятка километров. Пешком...

Выпытываю у мамы:

– А ты его не спросила – сам-то он поел чего-нибудь перед дорогой?

– Да наверно, голодного мама бы не отпустила. Только ведь какая еда в войну была...

– А в училище, когда пришел к тебе, – может, ты его в столовку сводила?

– Не помню уже. Вряд ли. Тогда своих-то нечем было кормить, а тут посторонний... Помню только, как он радовался, что принес мне свеклы – она в войну за конфетки ходила. Да еще с витаминами.

Опять думаю: полтора десятка километров – это ведь не только туда, это еще и назад. Не на машине, не на подводе – на своих двоих...

Сам Василий за образованием, уже за высшим, отправился в неблизкий город Казань. Впрочем, поначалу он высказал желание стать счетоводом. Однако отец сказал твердое «нет» (видно, были у бабушки резоны, до поры до времени мне непонятные, отрезать своих детей от деревни). И тогда младший сын нацелился на профессию, о какой в семье имели самое смутное представление, – решил выучиться на юриста. «Мама положила ему в узелок краюху хлеба и кусок сала – с тем и поехал в Казань». И цели своей достиг. Зная своего крестного, могу предположить, что двигало им юношеское желание увеличить количество порядка и спра-

ведливости на земле.

Став работником правоохранительной системы, Василий Антонович с должности районного следователя вырос до начальника отдела республиканской прокуратуры. Это – о его деловых качествах. А что касается качеств человеческих... Мама до сей поры вспоминает его слова: «Знаешь, как душа болит, когда приходится выносить приговор. Понимаю – преступник. Но – человек же...» Каждый раз, произнося эту фразу, она вытирает слезы...

Когда его хоронили (умер крестный от болезни желудка, рано), сослуживцы признавались, что на долгой службе в подобного рода органах редко кому удается остаться человеком с незапятнанной репутацией, а главное, незапятнанной совестью. Василий Антонович – остался. Правда, к концу жизни, устав, видимо, бороться между долгом и нашим российским «телефонным правом», признавался сестре:

– Знаешь, чего больше всего хочу? Вернуться в родную деревню, завести лошадь и работать на земле.

...На озеро я не попала. Кроме одной напасти – травы степной – нас ожидала в бабушкиной деревне другая – несметные полчища комаров. Никаких средств защиты от подлых тварей мы не взяли, и потому, устав хлестать себя по щекам и икрам ног, малодушно решили возвращаться к машине. И шли назад куда более резво. Я уже забыла о «вещем» сне и утешала себя тем, что, пусть я не повидала озера, в котором

купалась вечность, зато и без того многое увидела, многое вспомнила и вообще, кажется, знаю теперь о своих верхне-ладских родственниках все, что хотела знать. Правда, скребла душу еще одна бабушкина фраза. Однажды, во время нашей очередной беседы о жизни прошлой и нынешней, она произнесла странные слова. Она спросила:

– А кто тебе сказал, что до революции все простые люди жили плохо?

– Как кто? – удивилась я. – Учителя. И учебники истории.

Против учителей бабушка не возникала никогда. Против газет, которые издаются где-то далеко, – да, но против учителей, к которым ее внуки каждый день ходят на уроки...

Решив, что бабушке нечего возразить, я и спора, по привычке, не продолжала. А теперь решила спросить у мамы: почему?

– Почему бабушка однажды сказала: «Кто тебе сказал, что до революции все простые люди жили плохо»?

– Так ведь они оба – и мама, и тятя – были из зажиточных семей.

Не скажу, что не слышала об этом от мамы раньше. Слышала – но все скользило мимо сознания, а главное – мимо сердца, ни то ни другое особенно не задевая. Почему?

Здесь придется сделать лирическое отступление. Я сказала: мимо сознания, мимо сердца. И одна из причин этого «мимо» в том, что и сознание, и сердце до краев были заполнены ЛЮБОВЬЮ. Любовью к Родине с большой буквы.

Пусть смеются те, для кого это понятие стало пустым звуком. Пусть иронизируют над наивной, восторженной дурочкой, поверившей учителям и учебникам. Не одна я – миллионы моих ровесников были такими. Мы верили, что строим лучшее в мире государство – такого в человеческой истории не было никогда, и ради этой великой цели стоит жить, как велит песня: «Раньше думай о Родине, а потом о себе». И потому не стоит жалеть о том, что было раньше, до начала этой великой стройки (впереди ведь сияющие вершины!), а бабушек с дедушками, ностальгирующих по прежней жизни, надо понимать и прощать – им уже не преодолеть своих заблуждений...

От этих своих мыслей (по поводу великой цели) я не отказалась и сейчас. А вот что касается бабушек и дедушек... Что-то в моих суждениях о них – во время этой поездки я поняла это особенно отчетливо – было не так. Неправильно. Нечестно. Необъективно. Что именно? Пришла пора ответить на этот вопрос.

Собственно, предпосылки к ответу уже были. Над страной пронеслась, все сокрушая на своем пути, горбачевская перестройка, и, поначалу восприняв ее едва ли не с восторгом, мы бросились узнавать то, что раньше было под запретом. Столько обрушилось на наши бедные головушки... Тут уж было не до родственников – и сознание, и сердце едва вмещали газетную и книжную информацию, касающуюся всей страны.

Видно, теперь пришло время узнать СВОЕ.

– Ну и чем же они занимались? Чем наживали свое богатство? – вступает в беседу брат.

– Тятин отец гусей в Москву гонял, а у маминого была маслобойка, он конопляное масло делал.

– Держали работников? – продолжает брат.

– А как же. Гусей за семьсот верст один разве погонишь? А у Андрияна (маминога отца звали Андрияном) все девки рождались: сначала Александра, потом Варвара, ваша бабушка. А девки – по себе знаю – какие помощницы на производстве? Вот и нанимали людей – значит, эксплуататоры.

– А почему же ни дедушка, ни бабушка не обмолвились об этом ни разу, ни единым словом?

Это спросила уже я – и поняла, что сморозила глупость. Потому что ответ к тому времени знала и сама:

– И у тятиных, и у маминых родителей все имущество отобрали, а самих сослали то ли в Сибирь, то ли в Казахстан. Вот они и молчали. Боялись, как бы нам, детям, не навредить. Время-то какое было...

Я сидела оглушенная. Вот тебе и «все вспомнила, все повидала». Все «узнала о своих верхнеладских»...

– А почему... бабушку с дедушкой не тронули?

– Так они уже женаты были. Жили отдельно. И – как все...

Мне ли не знать этого «как все»... Это «как все» я уже и сама хорошо помню.

Их домик был иллюстрацией к есенинской строчке «низкий дом с голубыми ставнями» – только не ставни, а его наличники были выкрашены в голубой цвет. Дом – это, как и у всех деревенских в то время – одна-единственная комната. В переднем углу, конечно же, иконы. Две из них помню особенно явственно. Первая и на икону была, по моему мнению, не очень-то похожа – она состояла из множества небольших картинок, запечатлевших библейские сюжеты и заключенных в одну рамку. На второй была изображена голова Иоанна Крестителя на блюде...

Под иконами – стол, с двух сторон которого – широкие, удобные для сидения, лавки.

На стене – рамочка с семейными фотографиями. Чуть ниже их – картина, вернее, ее репродукция – «Неравный брак» Пукирева.

Вместо кухни – отделенный от комнаты ситцевой занавеской чулан. Сюда выходит чело печи, у которой бабушки простаивала долгие часы, готовя для большой семьи пищу. На печи же и спали, хотя одна металлическая кровать – с шпечками – в доме все же была. Кто не умещался на печи или кровати, спал на полу.

У самой двери, у входа, стоял сундук. Все.

Этого дома давно уже нет (его заменил перенесенный с другого конца улицы Дашенькин), но я до сих пор вспоминаю его с тихой нежностью и любовью...

Мама, отвечая на вопросы брата, начинает рассказывать

о том, какой хорошей (умелой и экономной) хозяйкой была наша бабушка, но я вдруг перестаю ее слышать.

Вот здесь, здесь... Именно здесь, за деревней, на склоне этого вот оврага когда-то стоял деревянный вагончик, в котором дедушка, после того как уже перестал быть завхозом, нес свою охранную службу. Наверное, я еще не ходила в школу, но была достаточно большой, если бабушка доверила мне и моим двоюродным братьям, Дашенькиным сыновьям, отнести деду узелок с едой. Мы пришли, дедушка узелок развязал, посунулся угостить нас, но мы, наученные бабушкой, решительно отказались: «Дома уже поели». И пошли на улицу.

Дедушкин вагончик стоял на колесах; мальчишки принялись бегать вокруг, а я полезла туда, под вагончик. Я ведь знала, что он должен расти в укромном, скрытом от людских глаз месте – цветок, которого никто никогда не видел. И если я не нашла его возле дороги, проходящей мимо Константиновки, так, может быть, здесь? Здесь ему даже лучше – под дедушкиным вагончиком так уютно, так умиротворенно и отстраненно от всякой суеты, что если уже где и расти необыкновенному цветку, так только здесь!

И я искала и искала, опять перебирая руками каждую травинку (ну кто, кто внушил мне, что найти его должна именно я?), но – увы – цветка, не похожего ни на какие другие, не находилось...

– ...Завтра к няне поедем, – вклинился в мои воспомина-

ния мамин голос. – Как хотите, а поедем.

Забыв о цветке, мгновенно хватаюсь за соломинку:

– А она может что-нибудь вспомнить о них – ваших дедушках?

– Конечно! Няне хоть и девяносто третий идет, а голова у нее еще светлая.

Поедем, конечно, поедем...

Утром мы опять трогаемся в путь. Наша неугомонная тетенька уже давно поменяла райцентр на столичный (для нашего края) город. Машина «форд» резво бежит по асфальту, мелькают за окном поля и березки...

Я смотрю на все это и вспоминаю почему-то... статуэтку. В последнем райцентровском тетенькином доме, украшенном бумажными цветами (она тогда работала «в цветах» – цехе по производству цветов из бумаги) и фотографиями, было еще одно украшение – статуэтка. Ни у кого больше – ни у тети Даши, ни у нас – ничего подобного не было, а у нее была. Что она собой представляла? Девушку с коромыслом. Девушка пришла за водой; одно ведро у нее уже на коромысле, за вторым она нагнулась. Да так и застыла. И простояла так на столе, под зеркалом, многие годы... Почему тетенька выбрала именно ее? Может, потому, что она была картинкой из деревенского детства?

Сдается мне, что тетенька, как и ее брат Василий, достигший в столичном городе немалых должностей, тоже всю

жизнь тосковала по родной Верхней Ладке («Верхоладка» – звали они ее для краткости). Я и сама по ней, оказывается, до сих пор тоскую. И вчерашняя поездка не только не утолила этой тоски, но еще больше ее распалила; только если раньше мне хотелось УБЛАЖИТЬ душу воспоминаниями детства, сценами гостевания в бабушкином доме, то теперь к этому добавилось не менее сильное желание УЗНАТЬ. Узнать то, о чем всю жизнь так стойко молчали мои незабвенные бабушка и дедушка... Тетенька, помоги!..

Вот и нужная нам улица. Нужный дом. В лифте вместе с нами поднимается совсем юная стройная девушка.

– Скажите, мы туда попали? Нам нужна Мария Антоновна Мещерякова.

– Так это моя бабушка. Вернее, прабабушка.

Тетеньку мы застали сидящей на диване, на кухне. Собственно, нигде больше ее и нельзя было увидеть, поняли вскоре мы. Потому что ходила теперь наша неутомимая и веселая тетенька, как оказалось, только по маршруту «диван – туалет».

– Нянь, здравствуй!

– Здравствуйте. А вы кто?

Маму, однако, она узнала. Меня – с трудом. Брата, которого не видела много лет, не узнала вовсе.

Мы положили на стол торт. Внучка Лена разлила по чашкам чай. Только пить его душа любой и всякой компании отказалась:

– Руки дрожат, чашку не удержу. Пейте сами.

– Да мы поможем...

– Нет-нет, сами пейте!

Мы с братом молчали. Говорили сестры. Устремив глаза в передний угол, знакомым напевно-ласковым и непривычно печальным голосом тетенька вдруг произнесла:

– Прошу Господа: забери, пора уж! Нет, никак не хочет!

Я, вслед за тетенькой, тоже посмотрела в передний угол и обомлела: икона была – та, из детства, из бабушкиного дома – множество библейских сюжетов, соединенных воедино под потемневшим от времени окладом...

А тетенька продолжала:

– Если бы ты знала, Нюр, как я соскучилась по тятe с мамой!

Смотрю и смотрю на тетеньку, пытаюсь разглядеть в ней прежние черты. Коротко остриженные волосы редки, а раньше... Вон на портрете она молодая: волосы, заплетенные в косу, венком уложены вокруг головы – куда тебе Юлии Тимошенко, глаза переполнены радостью начинающейся взрослой жизни, платье с белым воротничком и целым рядом маленьких пуговичек сшито, конечно, собственноручно и так ей к лицу...

Только голос у тетеньки прежний. Пытаясь ухватиться за ускользающий край, спрашиваю ее о родителях родителей.

– Помню, кто-то меня на печку подсаживает – бородатый, сильный. Видно, это и был дедушка...

Поздно, слишком поздно я собралась заглянуть в комнату...

Едем назад. Мама сидит в уголке заднего сиденья машины и молчит. О чем она думает?..

– Тятя няню больше всех любил, – неожиданно говорит она.

– А почему? – пытаюсь выпутаться из своих мыслей, машинально спрашиваю я.

– Не знаю. Может, потому, что она его из петли вытащила.

– Из... петли? Когда? Почему он...

– Да откуда ж я знаю! Это няня знала...

Потом была зима. Перед отъездом домой я уточнила у мамы: что касается родителей ее отца – о них она не знает ничегошеньки. Тятя умел молчать, как никто. Вот когда меня осенило, что могла означать загадочная дедушкина улыбка, спрятанная в бороде: знаю, да не скажу! Хоть режьте – не скажу! И никогда ничего вы от меня не узнаете!

Не узнаем, дедушка. Правда, сейчас это нам ничем не грозит. И нам так хочется знать, кто и, главное, какими были твои родители – наши прадедушка и прабабушка. Но разве можно винить тебя за твое молчание? Уж теперь-то мы знаем, как ЭТО все было и чем чаще всего заканчивалось...

И в то же время как я благодарю – запоздало благодарю – бабушку, произнесшую за всю свою долгую жизнь несколько

фраз, которые я теперь пытаюсь расшифровать, будто они были произнесены на неведомом мне языке.

Мне известно уже, что девичья фамилия бабушки была Губернскова (Мещеряковой она стала, выйдя замуж за дедушку), что родилась и выросла она в селе Лада, в те далекие времена (со временем мы раздобудем справку, что бабушка родилась в 1887 году) входившем в Саранский уезд Пензенской губернии. А ее репрессированного отца, у которого «все отобрали и сослали неизвестно куда», звали Андриан Губернсков. Фамилию помнила мама, имя вычислили, исходя из бабушкиного «Варвара Андриановна», с отчеством помогла... но об этом чуть позже.

Сначала вот о чем. Прошлой зимой, делая всякую другую бумажную и небумажную работу, время от времени я путешествовала по интернету. С его помощью узнала, например, что в Ладе в 1918 году было крестьянское восстание: крестьяне не захотели отдавать хлеб приехавшим в село продразверсточникам. Не был ли наш прадед участником этого восстания? Не за это ли пострадал? – задалась я вопросом. Увы – ответа на него краткая информация, конечно же, не давала.

Затем я разыскала сайт «Российская ассоциация жертв незаконных политических репрессий». Все течет, все изменяется... Вот уже и – «незаконных», хотя еще несколько десятилетий назад все это было таким законным, что – ни пикни, ни вякни, ни закричи...

Когда я впервые открыла нужную мне страничку, споткнулась глазами о цифру: банк данных сайта содержал... 1 миллион 429 тысяч 449 персоналий. В первую секунду аж дыханье перехватило: это какая же длинная и скорбная вереница людей! Это сколько же горя, слез, отчаянья и обжигающего душу ужаса оказалось вдруг сконцентрировано в одной стране с именем Россия! К тому времени я не только начиналась (может быть, в этом и заключается единственная положительная сторона безумной горбачевской перестройки) о репрессиях и обо всем, что с этим было связано, но и сама написала не один десяток материалов на ту же тему. В тех очерках были чужие судьбы – и то сердце отзывалось болью. А теперь...

Потом обожгла другая мысль: почти полтора миллиона незаконно репрессированных... и это, конечно, еще далеко не все – знатоки отечественной истории утверждают, что настоящая цифра равняется не одному десятку миллионов... и я хочу среди этого несметного количества людей найти своего прадеда?!

Вспомнилась Колыма, куда я почему-то стала проситься во время распределения после окончания университета. Жила и работала я в поселке Омсукчан. Социалистическое соревнование, партийный контроль, советский образ жизни – мы, журналисты районной газеты, писали обо всем, кроме одного – о том, что долгое время край был местом страданий и непосильной работы политзаключенных. Не писали и не

говорили. Словно и никогда этого и не было... Хотя уже давно прошел XXII съезд КПСС, материалы которого мы добросовестно изучали на семинарах. Хотя тогда, в семидесятых годах прошлого столетия, еще стоял посреди колымского поселка барак, обнесенный колючей проволокой. Однако не возникало даже мысли спросить кого-то из местных: что это за барак? Почему за колючей проволокой? Под ближней сопкой теснили друг друга ряды холмиков, очень похожие на могилы; мы ходили туда собирать бруснику и... опять ничего не спрашивали. Но однажды я поехала в Магадан на какое-то мероприятие (их тогда проводилось множество) вместе с работниками райкома комсомола. Дорога то летела стрелой, то петляла по сопкам, на которых росли северные деревья – стланик да лиственница, и вдруг секретарь райкома, симпатичный жизнерадостный паренек, совсем невесело сказал:

– По костям едем. Эту дорогу строили заключенные – уголовники, политические. В основном политические. Какие здесь морозы, ты уже поняла. Какая у них была еда и одежда – можешь представить. Люди строили и падали, и потом их прикапывали прямо вдоль трассы.

Не могу сказать, что эта фраза меня сильно впечатлила. Или взволновала. Мы же все это «проходили». И в голове (и сердце) накрепко запечатлелось: это были издержки роста большой страны. Это были муки рождения великой державы. К ним надо относиться с пониманием и сочувствием, но надо отдавать себе отчет в том, что – лес рубят, щепки ле-

тят...

Но когда «щепка» – твой родной прадед? Твоя родная плоть и кровь?

...Дрожащими руками заполняю графы сайта «Поиск по электронной Книге Памяти». Вывожу фамилию, имя прадеда... предположительный год ареста (или восемнадцатый, или тридцатый – какой же еще?)...

«На обработку вашего запроса потрачено 0,11 секунды. По вашему запросу найдено 0 совпадений»...

Сижу, оглушенная. 0,11 секунды... Разве можно за такое время найти целую жизнь?!

Еще и еще раз делаю попытки выведать хоть что-то у электронного всезнайки (всезнайки ли?). Увы – безрезультатно...

Звоню маме:

– Ну ладно, ты не помнишь отчества своего дедушки. Но самого-то его помнишь? На кого он был похож?

– Помню: один раз он пришел к нам в гости. Мама его угощала за столом, а я лежала на кровати. Так я на него и глядеть-то стеснялась.

– Сколько тебе было лет?

– Еще и в школу не ходила.

– Ты с двадцать шестого года. Еще в школу не ходила... значит, начало тридцатых.

Про себя думаю: тридцатые – самый разгул репрессий.

Может быть, он, кем-то предупрежденный, проститься с дочерью – Варварой – приходил? И чего я хочу от мамы – чтобы она знала имя-отчество человека, которого в то время звала «деденькой»? Чтобы она запомнила его черты?

Ей было всего четыре года!

А потом в семье (в стране) началась эпоха молчания...

– Слушай-ка, – вдруг произносит мама. – А позвони-ка ты Наде.

– Кто такая Надя?

– Дочь маминой сестры, Александры. Мама как вышла замуж, так и уехала из Лады, а Александра жила там долго. А потом уехала к Наде и осталась у нее жить. Поди-ка, они разговаривали про деда...

Как я искала Надю – Надежду Павловну, точнее, номер ее телефона – это отдельная история. Слава Богу, она закончилась благополучно. И вот я набираю номер ее мобильного телефона. Слышу несильный («Болею» – сразу же доложила она), но очень приятный и, главное, доброжелательный голос. Едва узнав, кто я такая и почему ей звоню, она на удивление быстро ориентируется в ситуации и четко отвечает на мои вопросы:

– Отчество у Андриана было Иванович. Да, он держал маслобойку. Каким был человеком? Мама говорила: замечательным! Хорошо платил наемным рабочим. Мог купить кому-нибудь из них корову. Мог свадьбу молодым за свой счет сыграть. А еще двадцать лет ухаживал за своим парали-

зованным отцом. Арестовали его в тридцатом. Где отбывал срок? В Котласе Мурманской области. Валил лес. Однажды его придавило упавшим деревом. Он заболел. Мама посылала ему посылку, но вряд ли он ее получил. Потому что скоро нам сообщили о его смерти – товарищи написали.

В одном ошиблась моя добрая собеседница: Котлас – в Архангельской области. Пожелав ей здоровья и поблагодарив за рассказ о прадедушке, я тут же бросаюсь с помощью интернета разыскивать Книгу Памяти жертв политических репрессий, изданную в Архангельской области. Здесь Андриан Иванович Губернсков отбывал срок, здесь умер... Здесь и должны быть сведения о нем!

Увы – оказалось, что в эту Книгу занесены только страдалцы, родившиеся и проживавшие до ареста в Архангельской области.

Не утолив моей жажды, интернет тем не менее подсказал, что делать дальше. Если уж быть совсем точной – подсказали люди, ищущие, как и я, своих предков. Нещадно эксплуатируя интернет, я была поражена: оказалось, таких поисковиков, как я, великое множество. Что особенно удивительно – много молодых! Такое впечатление, что вся Россия затосковала по своим дедушкам и прадедушкам, бабушкам и прабабушкам. Затосковала – и хочет узнать о них как можно больше или – хотя бы что-то! А узнать, как я и сама уже убедилась, непросто. Одна из сложностей, например, была такая: оказавшись на новом месте жительства, многие из репрес-

сированных стремились поменять свои фамилии, делая попытку спрятаться, скрыться, исчезнуть из поля зрения властей. И некоторым это удавалось. Ну и как после этого найти их следы, их корни?!

Один из виртуальных добровольных помощников поисковиков (есть такие!) подсказал: надо обращаться в информационные центры областей (республик) и Управления ФСБ по месту жительства репрессированных.

Значит – опять ждать лета...

Весной сажали огород, потом принимали внуков, – только осенью вырвались с братом в Константиновку.

И сразу – в Саранск, в этот самый информационный центр. Дорогой брат небрежно бросает:

– Котлас... Я в этом Котласе целый месяц работал на судне на воздушной подушке.

– Как? – поражаюсь я (брат в свое время закончил Горьковское речное училище, плавал (пардон, ходил) по Волге, Оке, Каме, сибирским рекам, и вот, оказывается, Двина тоже была его рекой). – Нет, ты представляешь – возможно, ты пролетал на своем судне мимо берега, на котором наш прадед валил лес. Возможно, где-то там теперь и его могила...

– Могила, но не его, а братская. Ты же знаешь, их хоронили десятками. Если не сотнями.

– Знаю. Но все равно это поразительно...

Сижу, смотрю в окно и думаю о том, что прадед наш Ан-

дриан Иванович становится нам все ближе, ну, как бабушка и дедушка прошлой весной, когда мы ездили в Верхолодку...

Вот и Саранск, улица Коммунистическая, дом номер 75. Лифт не работает, но что нам стоит подняться на седьмой этаж, если каждый шаг будет приближать нас к заветной цели?

– Заполните, пожалуйста, вот эту анкету.

Заполнили.

– Подождите минуточку.

Через минуточку женщина выходит и сначала нас жестоко разочаровывает: «Никакой информации для вас у нас нет». А потом вдруг дарит такую надежду! Она говорит ни больше ни меньше как:

– Дело вашего прадеда хранится в республиканском архиве ФСБ. Это через дорогу.

Через дорогу... всего через дорогу...

Надо ли говорить, как летели мы с братом к зданию Управления Федеральной службы безопасности по Республике Мордовия, с каким трепетом нажимали звончок у его ворот, как, замирая от предчувствия чуда (разве не чудо – найти, наконец, документы, которые расскажут нам о нашем прадедушке?), входили в само здание...

Дежурный в затемненном окошечке (он нас видит, мы его – с трудом) просит подождать. Эка делов, – соглашаемся беспечно, – когда мы уже у цели!

Вышедшая к нам симпатичная молодая женщина, однако,

несколько охладила наш пыл: чтобы получить доступ к документам, касающимся судьбы нашего родственника, необходимо собрать целый ряд документов. Таков порядок, и нарушать его не позволено никому.

Ну, порядок так порядок. Значит, будем добывать. Какие же это документы? Чтобы ничего не упустить и не забыть, записываю на листочек:

- свидетельство о рождении дочери нашего прадедушки («Зачем?» «Ну, как же – надо доказать, что ваша бабушка была его дочерью. В свидетельстве о рождении родители указаны»);

- свидетельство о браке нашей бабушки («это будет доказывать, что свою фамилию она поменяла на другую»);

- свидетельство о рождении нашей мамы («это будет доказывать, что она – дочь вашей бабушки»);

- свидетельство о браке нашей мамы («она ведь тоже поменяет свою фамилию...»);

- копия моего (просительницы) свидетельства о рождении (моего, потому что там указано, что моя мама – это моя мама).

Вот если эта цепочка родственных связей будет установлена и подтверждена подписями и печатями, тогда...

Решили начать с Лады. Здесь наш прадедушка жил, отсюда его «замели», сюда прежде всего и поедем.

– Мам, ты тоже с нами?

– А как же!

Поначалу мама говорила, что зря мы все это затеяли, что нечего тревожить память давно ушедших из жизни людей, а теперь не хочет от нас отставать. Машина брата, как и в прошлом году (только тогда был конец весны, а теперь ранняя осень), легко и резво бежит по асфальту. Мы радуемся тому, что наши края – прародина Патриарха Кирилла, и поминаем его добрым словом. Предстоятель Русской православной церкви приезжал навестить родные могилы (его бабушка похоронена в Саранске, дедушка – в селе Оброчном, что недалеко от Лады); этот визит, конечно же, был событием для Мордовии, и разве могли местные власти допустить, чтобы такой человек ехал по разбитой дороге?

Теперь тем же путем катим и мы...

Березки обочь дороги начали желтеть, но еще полны жизни и света. Брат включает радио, и... кажется, прямо с небес, прямо в душу полились музыка и слова:

Радость моя, наступила пора покаянная,  
Вот и опять запожарилась осень вокруг.  
Нет ничего на земле постоянного,  
Радость моя, мой единственный друг...

Мы прослушали песню в полном молчании. И потом говорить не очень-то хотелось. Но мама спросила:

– Песня-то... на молитву похожа; кто же ее сочинил?

Я сказала, кто.

– Тогда понятно, – осталась она довольна ответом.

И вдруг принялась рассказывать:

– В Ладу мы, бывало, на ярмарку ездили. Тятя посадит нас на рыдван и везет. А там накупит всяких ягод, мы сидим и лакомимся. А перед поездкой мама напечет в печке блинов крахмальных, нарежет как лапшу, бульоном зальет, и едим. Я один раз сказала: «Матушки мои, как ящерицы плавают, в лапше-то». Тятя хлесть мне ложкой по лбу – без единого слова, и дальше едим.

Так, за разговорами, приезжаем в Ладу. Находим сельскую администрацию («Сельсовет», – упорно говорит мама). Здесь нас огорчают:

– Никаких нужных вам документов у нас не найдете. Жили-то ваши родственники даже не в прошлом – позапрошлом веке. Все архивы того времени – в Ичалковском районе, в Кемле, езжайте туда.

Туда так туда... По журналистской привычке интересуюсь:

– Скажите, а нет ли у вас в селе краеведа, который, возможно, что-то мог рассказать нам о наших родственниках?

Девушка у компьютера иронично улыбается: иголку в стоге сена хотят найти... Но глава неожиданно говорит:

– А вон – Владимир Николаевич Нарваткин. И живет рядом.

И вот мы уже стучимся в дом учителя-пенсионера. Ах, как же хорошо пообщались мы с ним! Перво-наперво знаток

местной жизни сказал для нас очень важное: Губернсковы – такая фамилия в Ладе была одна. Но – увы – никого из ее носителей в живых уже не осталось. Брат интересуется корнями Патриарха («дом его родителей и сейчас стоит в Оброчном; мама и бабушка вообще наши, ладские»), а я сворачиваю все-таки на свою дорожку:

– А не мог ли наш прадед быть участником крестьянского восстания в Ладе в 1918 году?

Владимир Николаевич соглашается: теоретически – да, но – увы – такими сведениями он не располагает. Вообще же о восстании рассказывает много интересного, не скрывая своих политических пристрастий: «Я – ярый коммунист». В связи с чем и излагает события под соответствующим углом зрения: «Осенью восемнадцатого в Ладу прибыл продотряд в количестве десяти или четырнадцати человек. Это были владимирские рабочие, которые пошли в отряд добровольно. Они захватили из дома промышленные товары, которые планировали обменять на продовольствие. Вот почему рано утром пошли на рынок. И здесь началась резня. У продотрядовцев стали отбирать винтовки и тут же, на месте убивать. Кого только ранили – добивали вилами. Конечно, все это организовали кулаки: „Наш хлеб Ленин отправит за границу“. И еще добавили „перчику“ в свои речи: мол, продотрядовцы попа задумали убить. Ну, народ и озверел... О начавшейся резне почтарь позвонил в Ромоданово, оттуда сообщили в Саранск. Приехали военные. Начались аресты. Человек 50

было арестовано. Был ли среди них ваш родственник – не знаю. От очевидца мне известно, что задержанных держали в арестантской избе, а на рассвете вывели на возвышенность за село и там расстреляли – примерно человек десять. Остальных увезли в Саранск и потом отпустили».

Рассказчик делает акцент на слове «отпустили»: мол, видите, советская власть проявила гуманность.

Ах, Владимир Николаевич, Владимир Николаевич... Про Советскую Родину я уже сказала – не было для меня ничего дороже! Государство по имени СССР я и сейчас вспоминаю с большим уважением и нежностью. Это было время, когда мы читали хорошие книги и смотрели хорошее (за редким исключением) кино, когда телевизор не пугал и не вызывал скуку, а то и просто омерзение фильмами-«стрелялками» и голыми задами так называемых певиц. Не страшно было задержаться на улице, спокойно можно было поехать в любую республику... У нас была работа и жилье... А главное – мы так верили в те идеалы, которые провозглашались с высоких трибун! Увы – там, наверху, где производили подобные лозунги для широких народных масс, жили совсем по-другому. Потому и произошло то, что произошло.

Но и когда началась чехарда, называемая перестройкой, мы еще долго верили: это – ради улучшения нашей жизни, – ясно же как день, что улучшать есть что. Мы и представить не могли, что вместе с водой новые власти, новые силы, поддерживающие ее и крепнущие день ото дня, выплескивают

и ребенка... Вот тут уж точно мы были наивными...

На прощанье Нина (так представилась нам жена Владимира Николаевича) угостила нас необыкновенной вкусноты блюдом: курицей, приготовленной в гусятнице с кашей (сечкой). М-м-м... Хороша была и еда, и беседа, но... Но надо ехать в Ичалки, точнее – в Кемлю.

Однако и Кемля дала нам не особенно много: всего лишь копию свидетельства о рождении мамы и свидетельство о смерти бабушки.

– Но нам надо свидетельство о бабушкином рождении, – настаиваем мы.

– Все свои архивы мы просмотрели. И – безрезультатно. Теперь вам надо в церковных книгах искать. Рождение, смерть, регистрация брака – до советской власти все эти сведения заносились в них.

– И где же эти книги теперь хранятся?

– В республиканском Центральном государственном архиве, в Саранске.

Сказать честно, домой мы возвращались уже не в таком оптимистичном настроении. Но и упадническим настроениям решили не поддаваться.

Вспоминали Владимира Николаевича, обсуждали его рассказ.

– Он говорит: сорок человек отпустили и только десятых убили. Вот оно: лес рубят – щепки летят... Надежда Пав-

ловна говорила, что Андриан Иванович 1872 года рождения. То есть было ему тогда сколько? Сорок шесть лет. Пожалуй, староват для восстаний...

– Расстрелянных зарыли всех вместе. И креста не поставили. Но спустя время крест на этом месте появился. И стоял до 60-х годов. К этому времени сгнил, упал. На его месте появился новый. И этот со временем упал. И больше уже никто крестов не ставил... А, мам? А ты говоришь – зачем их тревожить. Но если никто больше не поставит креста... не скажет слова... наше общее прошлое просто истает! Испарится, как дым... Ой, опять поворот на Верхолодку! Прошлым летом, помните?

...Прошлым летом, спасаясь от комаров, мы с облегчением уселись в машину. Тронулись... И тут на дороге появилась старая женщина. «Батюшки, – ахнула мама. – Да это, никак, Дуся. Жень, тормози».

Брат остановил машину. Мама вышла, а мы остались наблюдать встречу подруг детства и юности из приоткрытого окна «форда»...

– Нюр, это ты? А я гляжу, кто это в тот край проехал? Не цыгане ли, думаю, а то еще чего подожгут.

– Я, Дусь, я. Здравствуй, голубушка.

Поцелуи, слезы...

– Как живешь-то, Дусь? – спрашивает мама.

– Живу вот...

– Не боишься тут одна?

– Да я не одна – с сыном. Только он что есть, что нет – пьет без памяти. Зимой волки воют вокруг...

И – с неожиданной силой:

– А, до чего страну довели! Раньше, в колхозе-то, хоть и работали, как батраки, а все равно весело жили! Мы уж привыкли к ним, колхозам. Зачем было эту жизнь ломать?

– Не говори, Дусь. Сколько гармоней было, сколько песен... Мама наша на что скромница была, и то выходила песни послушать. На вот, помяни родителей.

Мама протягивает Дусе кулек с гостинцами. Дуся берет, смотрит...

– Ты куда так много?

Отбирает четыре печенья, четыре конфеты:

– И этого хватит.

– Дусь, кто живой еще есть? Из наших ровесников.

Дуся докладывает: эту как-то видела, а эта который год в земле лежит, а эту прошлый год похоронили – да в богатой домовине, с замками. А зачем они, замки, – куда она оттуда убежит?..

– Мы с тобой две, похоже, и остались.

Подруги опять обнимаются. Опять вытирают слезы. Они сидели бы так до вечера, вспоминали и вспоминали, но комары...

– Прощай, Дусь.

– Да что же уж прощай? Может, еще поживем?

Мама садится в машину. Трогаемся. Дуся смотрит нам

вслед...

Как там она сейчас – одна, среди недалеких уже осенних дождей, а там уже и зимних холодов?..

– А вы знаете, что Дуся – дочь дяди Феди и Фроси-большой? – говорит мама.

– Откуда же нам знать да помнить? Вот сказала – теперь будем знать...

«Центральный Государственный архив Республики Мордовия».

Заходим. Если уж центральный, если государственный – значит, оснащен технически по всем правилам, от и до. Нам всего-то и надо – изложить свою просьбу...

– ...в письменном виде, – вводят нас в курс существующих в учреждении порядков в одном из кабинетов. – А после того, как директор ее подпишет, пойдете работать в библиотеку – листать книги, которые вам принесет наш сотрудник.

Гм-м, гм-м... А мы-то рассчитывали, что нам выдадут готовенькое. И быстро. И мы уже сегодня...

– Не теряйте время, идите к директору.

Заявление подписано. Проходим в библиотеку – просторное помещение на первом этаже. Симпатичная и улыбчивая молодая женщина внимательно выслушивает, зачем мы пришли, ненадолго уходит и возвращается с толстенными фолиантами – это, как скоро мы узнаем, и есть те самые метрические книги, которые до революции были в каждой церкви и

куда вносились записи о рождении, бракосочетании, смерти всех проживающих в приходе данной церкви людей.

Итак, нам надо найти запись о рождении нашей бабушки Варвары Андриановны Губернской. Мама не помнит, не знает, в каком году она родилась. Но в свидетельстве о смерти, выданном в Кемле, эта дата указана – 1887 год.

– Вот метрическая книга Ладской церкви – листайте, ищите, – напутствует нас улыбчивая библиотечка.

С каким трепетом открывали мы с братом толстенный фолиант, вместивший в себя несколько обычных книг, ради экономии места и времени соединенных воедино. Сначала мы разглядывали не просто каждую страничку – от начала до конца, но – каждую букровку, узнавая знакомые верхнеладские фамилии. Потом, поняв, наконец, какая долгая и нелегкая нам предстоит работа, стали фиксировать взгляд на имени Варвара. Имя новорожденного (новорожденной) было записано в первой графе (а перед ним стояла дата рождения и крещения), во второй были записаны имена и фамилии родителей, в третьей – свидетелей события. Каждая запись удостоверялась подписями священника и дьякона. Мария, Лукерья, Параскева, Мокрида... Вот – Варвара! Увы – Варвара, да не наша – в графе «родители» записаны совсем другие люди, а не наши бабушка с дедушкой...

Записей о нашей бабушке в 1887 году вообще не нашлось. Мы просмотрели самым внимательным образом записи и за

другие годы – на несколько лет раньше, на несколько лет позже – результат был тот же.

– Так... Давайте плясать от даты бракосочетания. Когда у ваших бабушки и дедушки был рожден первый ребенок?

– В тринадцатом (это непокорный Алексей)... Но еще три их ребенка умерли во младенчестве.

– Давайте начнем смотреть с десятого года.

Уже без прежнего пыла берусь листать пожелтевшие страницы. И вдруг...

– Петр! Родители – крестьянин Антон Дмитриевич Мещеряков и жена его Варвара Андриановна! Родился 24 июня 1910 года!

Работающие рядом люди отрывают глаза от книг, смотрят на меня с улыбкой. А я не могу сдержать эмоций и ликования: Петр! Значит, одного из умерших во младенчестве и собственноручно принятых бабушкой детей звали Петром... Событие к радостным не отнесешь, но... нашли же! И если это первый сын бабушки и дедушки, значит, надо листать 1909 год – именно тогда они должны были обвенчаться.

И вот... Год 1909. Январь, 25 числа. «Бракосочетаются: крестьянин деревни Верхняя Ладка Антоний Дмитриевич Мещеряковъ, православного вероисповедания, первым браком и крестьянская девица села Лады Саранского уезда Пензенской епархии Варвара Андриановна Губернскова, православного вероисповедания, первым браком»...

Надо перевести дух... Слава Тебе, Господи! Нашла. Ну

зачем, зачем теперь свидетельство о рождении, если черным по белому, с дореволюционными ятями, написано: замуж за Антона Дмитриевича Мещерякова вышла Губернскова Варвара Андриановна. А Губернсковы в Ладе были одни! Вышла и, следовательно, поменяла фамилию на «Мещерякова».

Так, смотрим дальше...

А дальше... начался детектив. «Лета жениха – 26. Лета невесты – 19».

А как же «вышла девчонкой»? Как же «каталась на ледянке»?

Делюсь сомнениями с библиотекарем. Она улыбается своей очаровательной улыбкой:

– Знаете, ваша бабушка могла себе лет прибавить. 14 – это все-таки для венчания маловато. Даже для того времени.

– А что – такое в те поры случилось?

Ответом мне опять была улыбка...

Ах, бабушка, бабушка! Вот когда загадала загадку. Ваше с дедушкой бракосочетание во всех смыслах оказалось таинством, которое и заверил своею подписью священник Михаил Юрьев с диаконом Николаем... Беляковым? Подпись – увы – неразборчива...

Итог нашей работы улыбчивая библиотекариша запечатлела в двух документах. Первый назывался «Архивная выписка из метрической книги Нижегородской консистории церкви села Хилкова Лукояновского уезда на 1909 год» и удостоверял факт бракосочетания наших незабвенных бабушки

и дедушки. Второй свидетельствовал о том, что «...в просмотренных метрических книгах церкви села Лада Саранского уезда Пензенской губернии за 1886–1891 годы сведений о рождении Губернской Варвары Андрияновны не обнаружено».

Конечно, это меня озадачило: как могло случиться, что записи о рождении девочки из семьи верующих родителей не оказалось в метрической книге церковного прихода? Дома я тот же вопрос задам маме, и она тоже не найдет этому объяснения. Но предположение выскажет:

– Первая жена Андриана умерла рано. Мы про нее совсем ничего не знаем. Может, она была родом из другого села? И рожала Варвару там? Тогда и запись должна быть в книге другого прихода.

Какого? Увы – тут мы не могли высказать даже предположений. Но я отчего-то была спокойна. Я рассудила так: зачем нужно свидетельство о рождении бабушки, если запись о регистрации брака свидетельствует о том, что дедушка взял в жены именно Варвару Андрияновну Губернскую. И место ее жительства указано – село Лада. А Губернские в Ладе, – еще раз с радостью вспоминаю слова знатока ладской жизни Владимира Николаевича Нарваткина, – были одни...

Все добытые документы я сложила аккуратно в стопочку, в порядке, подтверждающем мою родственную связь с моим прадедушкой Губернским Андрияном Ивановичем. Еще

и еще раз прокручиваю в голове: была у него дочь Варвара? Была. Вышла она замуж за жителя деревни Верхняя Ладка Антона Дмитриевича? Вышла. Сменила фамилию на «Мещерякова»? Сменила. Родилась у супругов дочь Анна – моя будущая мама? Родилась – вот копия свидетельства о ее рождении. А вот копия моего свидетельства о рождении, которая подтверждает, что именно Рыжова, а в девичестве – Мещерякова Анна Антоновна – моя мама...

Все, все подтверждено!

Господи, скорее бы утро...

И вот мы опять в республиканском Управлении ФСБ. Та же симпатичная молодая женщина рассматривает добытые нами документы. Кажется, все в порядке. Кажется, скоро произойдет то, о чем я вот уже сколько времени мечтаю и грежу – я получу в руки...

– А копия свидетельства о рождении вашей бабушки?

Уверенная, что моя собеседница очень скоро согласится со мной, с жаром начинаю объяснять:

– Понимаете, записи о рождении нашей бабушки не нашлось. Но ведь запись о бракосочетании бабушки и дедушки неопровержимо свидетельствует: за Мещерякова Антона Дмитриевича вышла замуж Губернскова Варвара Андриановна, а Губернсковы в Ладе...

Я продолжаю говорить, но уже понимаю: слова говорю бесполезные. В этом здании важны только печати и подпи-

си, но никак не соображения, пусть и представляющиеся мне свехубедительными...

– Нам необходима копия свидетельства о рождении. Таков порядок, и нарушить его я не могу.

И тут меня понесло: я замолола что-то о духовной связи поколений, о том, что меня колотит от одной только мысли, что где-то здесь, рядом, лежат документы, которые помогут мне ВСТРЕТИТЬСЯ с моим прадедушкой, может быть, даже увидеть его фотографию (я почему-то очень хочу знать, похожа ли на него бабушка), и неужели какая-то бумажка может послужить препятствием нашей ВСТРЕЧИ, о которой я столько мечтала... У меня есть и еще одна мечта: съездить в этот самый Котлас, найти дедушкину могилу и положить на нее цветы...

Женщина на минуту выходит. Пошла узнать, можно ли пойти мне навстречу и удовлетворить мою просьбу? Или просто... дает мне возможность успокоиться?

Дверь снова открывается, и я слышу:

– Я не могу нарушить установленного порядка.

Во взгляде служительницы учреждения появляется что-то похожее на сочувствие:

– Но вы... не волнуйтесь так уж сильно. Оставьте свой адрес. Самое главное мы вам сообщим в письменном виде – в течение месяца.

– Сволочи! Убить человека, это – пожалуйста, это легко.

А дать возможность с ним ВСТРЕТИТЬСЯ, хотя бы виртуально...

Мы возвращаемся домой – и так безрезультатно! Я, можно сказать, в бешенстве.

Брат управляет машиной и молчит. Потом раздумчиво произносит:

– Ты понимаешь, это – государство. Оно для того и существует, чтобы обеспечивать в своих границах порядок. Иначе – хаос. Хаос и беспорядок.

– Кому будет хуже от того, что я посмотрю эти документы? Какой вред я нанесу этим государству?! Уже нет в живых никого из тех, кто их подписывал. Да меня это и не интересует. Мне на них наплевать! Меня интересует мой прадед! Отец моей бабушки! Я хочу знать, каким он был. Похож ли он на бабушку, вернее, бабушка на него. Если уж не возможна наша реальная встреча, то хотя бы духовная-то...

– Гм-м... А разве ты в эти вот дни, пока мы добывали справки, пока ты сидела в архивах, в ФСБ – разве ты эту духовную связь не ощущала? Не чувствовала?

Я замолкаю, пораженная. Брат мой Женька, которого я считала чересчур приземленным, неспособным уловить тонкие вибрации души – говорит такое?!

Я думаю. И вспоминаю почему-то бабушкин кисель. Однажды я гостила у нее, и она подала мне на завтрак блинов с киселем. Я отпила глоток и вдруг сказала:

– И почему кисель варят такой жиденький? Вот я, когда

вырасту, буду варить его густой-прегустой.

На следующее утро бабушка подала мне густой-прегустой кисель... Ух, как мне стало стыдно! И какой благодарностью переполнилась душа!

Бабушка, ты хотела своим внукам чем-то запомниться... и не просто запомниться – ты хотела, чтобы ниточка между нами с твоим уходом с этого берега жизни не обрывалась... И есть, есть этому еще одно свидетельство: недавно мама вынула из шифоньера полотенце с вышитыми по краям его цветочками, очень похожими на голубые головки льна. Вафельное полотно от времени пожелтело. «Ох, сколько пролежало», – вздохнула она. «Что?» – не сразу поняла я. «Да вот полотенце. Мама вышила его незадолго до ухода. И отдала мне». – «А что же ты ни разу его не показала?» – «Думала, вам неинтересно».

И в самом деле: зачем оно нужно было? Это полотенце понадобилось нам только сейчас.

Бабушка, бабушка... Эти твои голубые цветочки... И те, что я, казалось, так безрезультатно искала на лугу... Может быть, они называются одинаково? Может быть, имя им – СЛОВО?.. И мы с тобой... мы с тобой сумели словами обменяться... сумели еще раз поговорить, когда ты уже на другом берегу вечности, а я еще на этом...

Мне даже кажется, что я теперь знаю, какой вопрос таился в твоих глазах. Ты спрашивала: отчего люди так безжалостны друг к другу? Отчего с такой легкостью друг друга уни-

что жают? Когда сказано: НЕ УБИЙ...

И еще я знаю теперь, ради кого ты утром и вечером, на коленях стоя перед иконами, возносила свои самые горячие молитвы...

Дедушка никаких СЛОВ не оставил. Он все упрятал в свою бороду. Дедушка не надеялся, что мы окажемся способными открыть и, главное, понять его тайну. И он оказался не так уж не прав. Хотя...

Все-таки пришла мне из Саранска, из грозной организации, бумага, и сообщается там вот что: «В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ „О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации“ сообщаем, что по архивному уголовному делу № 5889-с проходит Губернский Андриан Иванович, 1872 года рождения, уроженец села Лада Ромодановского района Мордовской АССР, бывший кулак-предприятчик.

Губернский Андриан Иванович осужден 25.04.1930 года тройкой при ПП ОГПУ по Средневолжскому краю по ст. 58–10, 58–11, 58–13 УК РФ к 5 годам заключения в исправительно-трудовом лагере...

Прокуратурой Мордовской АССР от 07 ноября 1989 г. Губернский Андриан Иванович реабилитирован.

...Для ознакомления с материалами архивного дела Губернского А. И. просим предоставить документы, подтверждающие Ваши родственные связи с ним.

Другими сведениями в отношении указанного лица не

располагаем»...

Что касается документов – про это я уже рассказала. Что касается «других сведений в отношении указанного лица» – спасибо Надежде Павловне, она рассказала о нашем прадедушке гораздо больше.

Что же касается всего остального...

Когда наша мама прощалась с тетенькой, сестры договорились встретиться уже ТАМ.

Когда-нибудь ТАМ, на другом берегу вечности, встретимся мы все. И друг друга узнаем. И обнимемся.

И тогда вы расскажете все-все...

P. S. У этой истории было продолжение. Благодаря помощи хороших, ПОНИМАЮЩИХ людей, мне все-таки удалось посмотреть дело Андриана Ивановича Губернского. Оказалось, все имущество «кулака-предприятчика» составляло: «изба, крытая тесом, двор, амбар, 1 корова, 1 лошадь, 2 овцы, ½ маслобойки», которую он держал совместно с братом. Вот она-то, эта маслобойка, и сыграла в его жизни (и жизни брата) роковую роль. Если сравнить ее с имуществом нынешних российских миллионеров-миллиардеров...

Я вышла из серьезного учреждения потрясенная. Что я могла сделать для своего прадеда еще? Только пойти в храм. И поставить свечку. И помолиться за упокой души раба Божия Андриана...

# Я здесь и живой

## Повесть

Такого еще не было – чтобы он так на нее кричал. Весь побелел, по телу словно судорога пробежала, только глаза закрыл еще плотнее. Про них-то он и кричал:

– На черта мне твое зрение? Видеть никого не хочу! Никого и ничего! Не на что смотреть стало!

«Твое зрение»... Если бы ее – было б легче. А то ведь сам слепнет...

Она поставила пузырек с каплями на журнальный столик – он давно уже «прописался» возле дивана, на котором спал муж (он – по одну сторону столика, она на своей кровати – по другую), и приказала себе: не заводись. Ну, накричал и накричал, значит, теперь и к этому привыкать надо. И что-то такое придумывать – чем бы его (да и себя) успокоить. Потому что если оба начнут кричать – один в девяносто, вторая в восемьдесят пять лет, – это уж и смех, и грех...

– Ладно, не хочешь – не надо. Но покушать-то не откажешься? Я тебе твою любимую кашку сварила – пшенную.

Капли прописала Вера Геннадиевна, поселковый глазной врач. Выписывала, на нее не глядя, хотя обычно охотно с Антониной Васильевной беседовала. А тут – глаз от бумажки не поднимет. Тоня поняла: значит, дела их совсем нехоро-

ши. Единственное, что сказала доктор: «Вам опять надо в областную больницу. Пусть еще раз на хороших аппаратах посмотрят». Ехать так ехать – согласилась она. Вот только выберут время...

– Нынче суббота. На рынок надо сходить. Давай-ка не задерживай, ешь.

Он, кажется, уже отошел от гнева. Сел на своем диване, взял в руку ложку.

– Ну вот и молодец. А то разбушевался. На кого это ты смотреть не хочешь – на меня, что ли?

– Прости, Тонь...

– Ладно уж... Ты ешь, чай тоже на столике стоит. А я пойду, пока творог да сметанку не разобрали. И дверь закрою на ключ.

Дверь она не просто закрыла, а – трижды повернула ручку, чтобы в этом убедиться. И потопала по своей окраинной улице в центр.

Утро было на редкость хорошим. Раннее солнышко еще не жгло, а только ласкало кожу. Листья растущих вдоль дороги пирамидальных тополей светились чистотой и свежестью, какие бывают только в начале лета. «О, даже ноги сегодня не болят», – удивленно отметила про себя Тоня. Хотя... болят, не болят – что это меняет? Топать, чтобы было что лопать, все равно надо.

Месяц назад она вот так же вышла из дома. И с той же

целью – закупить на рынке продуктов. Только дверь на ключ не закрыла. До того злополучного дня она рассуждала так: муж, в войну – выносливая пехота, рост под два метра, косая сажень в плечах – становится совсем плох. На журнальном столике аппарат для измерения давления, таблетки и капли. Так что дверь лучше не закрывать: мало ли что может случиться, пока ее нет, а тут кто-нибудь придет да поможет.

Нынешним маем они впервые не пошли на поселковый митинг, посвященный Дню Победы. Не один ее муж такой: почти всех (а много ли их – всех-то?) оставшихся в живых ветеранов представители власти приходили поздравлять домой. Поздравили и Антона. Вручили красивую открытку, конвертик с денежкой. Сказали необходимые в таких случаях слова – и ушли. И они были даже рады, что поздравление не затянулось: давление у мужа резко скакало вверх даже от самого малого переживания. А тут – война...

Дорогой для них день они отметили вдвоем: в обед она накрыла праздничный стол, поставила посередине бутылку «Монастырской избы». Кстати позвонили дети и внуки, и раздухарившийся после их поздравлений супруг отважился на вопрос:

– Что – беленькой разве не нальешь? Не полагается разве победителю?

– Ладно уж, – смилостивилась она. – Ради Победы...

И просидели до вечера. И вспоминали, как ни странно, не войну, а – как познакомились. Как все у них с Антоном

начиналось.

...Тогда с ее улицы до центра поселка ходил автобус – маленький такой, побитый временем пазик. Прибежала Тоня на остановку (в молодости она чаще всего не ходила, а именно что бегала – как девчонка), а та – пуста. Высоченного роста мужчина (он один и стоял на остановке) счел необходимым подтвердить:

– Только что посмотрел автобусу вслед.

Она сердито нахмурила брови: а то сама не вижу; не хватало еще, чтобы стал навязываться со знакомством...

Сердитые брови незамеченными не остались, и все же незнакомец сделал еще одну попытку завязать разговор:

– А где вы работаете?

«Так я тебе и сказала», – все еще не могла унять раздражения она. Но не отвечать совсем было невежливо и глупо, и она сочинила на ходу:

– На сахарном заводе, конечно. У нас все там работают.

Незнакомец посмотрел на нее долгим взглядом и вдруг уверенно сказал:

– Вы – учительница.

– ...Ну вот скажи – как ты угадал? – спрашивала вчера мужа теперешняя Тоня.

– Это было нетрудно: такие сердитые бровки бывают только у учительниц, когда их огорчают ученики. Ну и, скрывать не стану: интеллект. На твоём лице я увидел признаки интеллекта.

– Признаки... Всего лишь признаки, – ядовито заметила она.

– Тонь, не сердись. Давай лучше вспомним, что было дальше.

...Дальше начали подходить люди, и в очередной автобус народу набилось, как селедки в бочку, и всю дорогу (так почему-то само собой получилось) им пришлось стоять рядом; она, маломерка, едва доставала макушкой головы ему до подбородка, и, когда он опять попытался завязать разговор, ее ответы не всегда достигали его уха, и ему приходилось наклоняться к ней, как к ребенку. В какой-то момент она заметила: из левого рукава у него выглядывает не рука – кожаная перчатка. Протез. Но ни жалости, ни снисхождения к попутчику она не испытала – все мужики воевали, у всех война что-то или кого-то отняла. У нее, например, детство.

...– Тоня, вставай, отец приехал!

В то лето она жила в пионерском лагере, и все здесь ей нравилось: как сажали цветы и потом ухаживали за ними, как выпускали газету, в которую она с удовольствием писала заметки, как готовили концерты и выступали с ними у пионерского костра... Смена еще не закончилась, зачем же приехал отец?

Вышла на крыльцо и сразу попала в его руки. Прижав дочку к себе, он долго молчал, потом сказал тихо: «Война, Тоня. Меня на фронт берут»...

Тогда они жили в деревне, и домой отец вез ее на повозке.

Ехали и молчали. Отец и всегда был не особо разговорчивым, а уж когда приходила беда... Что беда – она уже поняла, вернее, почувствовала своим маленьким сердчишком, но утешила себя тем, что – не одна же она остается, а с мамой и младшей сестрой. Вот они и будут все вместе отца ждать – как ждали с поля. Возвращался он обычно в сумерках, они с Шурой бежали ему навстречу. Отец ловил их в охапку и вынимал из кармана гостинец – сухарик с прилипшими к нему травинками или веточку земляники, сладкую до замирания сердца: «Это вам от зайчика»...

Пока мама хлопотала у печки, папка сажал ее на колени: «Что-то я плохо видеть стал. Ты не считаешь мне газету?» И про зайчика, и про плохое зрение Тоня все уже понимала, но теперь был ее черед радовать отца...

«Ты старшая, Тоня. Маме помощницей будь», – только это он и сказал тогда дорогой.

Вообще-то старшим среди детей был брат, Юра. Но его увели из дома в тридцать седьмом, когда она еще и в школу не ходила. Пришедшие в дом люди в кожаных куртках говорили непонятные слова: антисоветская деятельность, преступный сговор с учителем истории... Мама плакала, отец тяжело молчал...

После этого старшей действительно стала она.

И когда проводили на войну отца, выполнять его наказ старалась изо всех сил. По утрам вставала вместе с матерью; пока та доила корову и готовила им с Шурой на весь день

еду, гладила ее ситцевую кофточку и батистовый головной платок: чистюля мама, как бы ни уставала в поле, после работы непременно их стирала, а ее задача была погладить этот скромный наряд. Погладив, Тоня опять падала в кровать, а проснувшись во второй раз, принималась уже за серьезные дела, подключая к ним и Шуру. Прополоть огород, подбелить хату, наделать десятка два-три кизяков – зима шутить не будет... Нынешние дети о кизяках и представления не имеют. И хату белить их никто не заставит – не детское это дело.

– ...Помнишь, я тебя спросил: «О чем вы все думаете? Может, поделитесь?» А ты: «Вот еще. Зачем я буду рассказывать о себе постороннему человеку?»

– Ладно уж, признаюсь: совсем посторонним к тому моменту ты мне уже не казался. А когда выяснилось, что зовут тебя Антоном, да еще Васильевичем, а я-то тоже Антонина и тоже Васильевна...

В том сентябре они с мамой похоронили отца. Жили как раз вот в этом домике, в поселке сахарного завода, куда после войны многие сельчане перебрались. В колхозах было голодно-новато, а тут – регулярная зарплата и – немислимое дело! – жилье бесплатно дают. Родителям предложили не квартиру – финский домик на окраине поселка. Так они этому только обрадовались: можно будет, как в деревне, сад-огород развести, небольшой, конечно, не деревенский, а все равно и вишенку посадить можно, и пару-тройку грядочек разбить...

После похорон отца в доме стало так пусто и тоскливо, что, когда на пороге вдруг появился недавний Тонин знакомый (ее адрес ему все-таки удалось выпытать), она этому визиту даже обрадовалась. Хотя и неловкость испытала тоже: знакомился он только с ней, а теперь вот придется еще и с... дочкой...

Чтобы сразу прояснить ситуацию, четким учительским голосом она объявила:

– Дочка Таня, пяти лет. От первого, и, как оказалось – неудачного, брака.

Антон это, кажется, нисколько не смутило. Не менее внятно он произнес:

– Представьте себе, что и мой первый брак оказался неудачным. Пришел с войны, а дома меня... уже не ждут.

Тут почему-то смутилась Тоня и, сославшись на необходимость проверки тетрадей, ушла в комнату. Мама, чуткая душа, пригласила гостя к чаю...

С тех пор так и повелось: мама с внучкой и гостем распивали чай на кухне, а она в комнате проверяла тетрадки. Потом мама пересказывала ей их разговоры: родом Антон Васильевич из соседней области, а сюда приехал к фронтовому другу; тот на заводе начальником отдела кадров – вот и взял его на работу. «Серьезный мужчина, основательный, – с намеком добавляла мама. – И профессия хорошая – бухгалтер». «А мне-то какое дело?» – не хотела понимать намеков Тоня. К их разговору она вообще не прислушивалась,

хотя однажды ее ухо уловило фразу: «...и хочу, чтобы мы поженились». «На ком это он собирается жениться? Ходит, кажется, к нам – уже десятый день подряд ходит...»

– Тоня, иди сюда! – позвала мама.

Она вышла на кухню и вдруг с удивлением поняла: а ведь Антон похож на ее отца. И не только высоким ростом, но и глазами – глаза-то такие же внимательные и добрые...

Вот так она шла и шла тогда, месяц назад, воспоминания их с мужем застольную беседу, и не сразу обратила внимание на то, что следом за ней идет молодой человек. Ходить по своей, пусть даже окраинной, улице она никогда не боялась. На этот же раз... Что-то в походке мужчины ее насторожило. Шел он как бы не просто так, а словно следил за ней. Словно не хотел от нее отрываться. Зачем? Почему?.. Но рынок был уже близко, Тоня ускорила шаг и скоро оказалась среди людей и потеряла молодого человека из виду. Понадеялась, что и он ее – тоже.

Сметану и творог еще не разобрали, она купила того и другого. Выбрала кусочек свининки, попросила взвесить кило апельсинов. В яблоках к весне витаминов уже не осталось, а Антону они нужны. Слава Богу – они могут себе это позволить – апельсины.

Заполнив сумку продуктами, пошла обратно.

Идти с нагруженной сумкой было уже тяжелее, но Тоня себя, как всегда, бодрила, не позволяла поддаваться всяким

там слабостям. Если и она прикипит к дивану... кто за ними ухаживать будет?

Нет уже никого. И маму, и сестру она похоронила. Сын Василий (их общий с Антоном сын) живет далеко, в Чите; дочка в областном центре, но они стараются лишней раз ее не беспокоить. Так что шагай бодрее, Тоня, – говорила она себе. За воспоминаниями идти легче, вот и вспомни еще что-нибудь. Из того же детства. Например, как траву косила.

...Однажды мама вздохнула:

– Хорошо соседке Вере – с ней сын остался. Сена накосит. Был бы Юрочка с нами...

С тех пор, как брата увели из дома (в тот же день были арестованы учитель истории и еще двое старшеклассников), от него не было ни слуху ни духу. Мама долго обивала пороги соответствующих инстанций, пока ей не сказали: «Десять лет без права переписки». Домой она вернулась в слезах: «Это как же так – десять лет мы от него никакой весточки не получим? Да разве это можно вытерпеть?..»

Тоня, не привыкшая обсуждать действия взрослых, на этот раз отважилась на вопрос:

– Мама, а что – он действительно что-то плохое сделал?

Мама даже плакать забыла:

– Никогда больше не задавай такого вопроса! Запомни на всю жизнь: твой брат был хорошим человеком. И если бы он сейчас был дома... Нет, дома его все равно бы не было. Потому что он вместе с отцом ушел бы с фашистами воевать.

Она опять поднесла к глазам платок, и Тоня, чтобы утешить ее, запальчиво сказала:

– Да я и сама этого сена накошу!

– Маленькая ты еще для такого дела...

Утром Тоня едва дождалась, пока мама уйдет на работу, и тут же побежала к подружке: пошли траву косить!

Люба была на два года старше; на лугу она твердо заявила:

– Работать будем отдельно. Ты здесь, я там.

Косу Тоня держала впервые в жизни, зато сколько раз видела, как косил отец. Вспоминала его движения и старалась, старалась...

Через час подошла Люба, удивленно оглядела покос.

– Мама велела мне работать отдельно – боялась, что ты накопишь меньше моего. А у тебя хорошо получилось. Давай теперь вместе...

Сумка оттягивала руку; чтобы передохнуть, Тоня поставила ее на землю, обернулась назад и... увидела позади себя фигуру: за ней опять шел тот же самый молодой мужчина. И, кажется, даже нетрезвой походкой. Стала соображать: если снова идет за ней – значит, это не случайно? И – что же ей делать? В кошельке осталось сколько-то денег. И вот продукты... Может, остановиться, подождать, пока подойдет, да и отдать все самой?

Ну, нет, так легко сдаваться она не намерена! Она попробует его перехитрить. Для начала – пройдет мимо своего дома, чтобы он не догадался, где она живет.

Подхватив сумку, Тоня ускорила шаг и постаралась не оборачиваться: ну, иду и иду, и ты шагай... Глядишь, еще и отстанет. Может, она вообще придумала все, а у него и в мыслях нет преследовать пожилую женщину?

Через какое-то время обернулась и облегченно вздохнула: слава Богу, преследователь исчез. А она-то... дала разбушеваться фантазии. Эх, Тоня-Тоня – метр без кепки. Дура старая...

От тяжелой сумки рука уже начала неметь. Она опять остановилась, поставила сумку на землю, промяла руку от ладонки до плеча. И пошла назад, к дому.

Открыла дверь – и остолбенела: прямо перед ней стоял ее преследователь. Глаза не просто пьяные – безумные. И голос – такой же: «Где у тебя деньги? Деньги давай!» Она кинула сумку ему под ноги и бросилась в комнату: что с Антоном?!

Муж лежал на диване, почему-то закрыв глаза руками. Одеяло – на полу, рубашка истерзана...

– Антон, что случилось?!

Муж с усилием отнял ладони от лица:

– Это ты? Звони в милицию. То есть в эту – полицию, черт бы ее побрал.

И застонал, опять прижав к глазам руки...

Она и сегодня шла на базар, как в тот злополучный день – одна. Шла и оглядывалась. Головой понимала, что бояться теперь уже некого, но страх жил где-то глубоко внутри, в ме-

сте, разуму не подвластном. И бороться с ним силенок уже не хватало. Это перед ним, перед мужем, она держала марку, притворялась уверенной и спокойной, а сейчас, наедине с собой... Где их набраться, сил, если весь месяц – по больницам?

Сначала Антона положили в свою, поселковую, лечили сотрясение мозга. Потом оказалось, что есть и еще одна беда: не переставали болеть глаза. Мало того, муж обнаружил, что с каждым днем видит все хуже и хуже. Однажды вовсе ее напугал: «Тонь, ты одна? Или тебя две?» Хорошо еще, что сразу добавил: «Не беспокойся, я не сошел с ума. Это, видно, глаза чудят». Тут уж их направили в областную больницу, положили на обследование. Тоня водила мужа по кабинетам, усаживая то к столу доктора, то к очередному аппарату. В конце концов ему сделали назначения и разрешили уехать домой. Однако назначения эти – таблетки и капли – помогали мало. Она снова пошла к Вере Геннадиевне, та посоветовала еще раз съездить в областную больницу и прописала новые капли, а он... Вон он как нынче на нее накричал – совсем на него не похоже. И разве только глаза тому причиной?

Причиной, понимала Тоня, было все, что последовало за тем страшным днем. К ним зачастили работники прокуратуры. Антон изо всех сил крепился, чтобы разговаривать с ними спокойно, но это не всегда получалось. Чаще всего приходил молодой, симпатичный паренек, видимо, только закончивший учебу в институте. Беседу он начинал спокойно и

доброжелательно:

– Пожалуйста, расскажите еще раз все сначала.

Тоня брала мужа за руку: мол, так надо, такая у них работа, не заводись. И Антон, кажется, ей подчинился, начинал обычным своим негромким голосом:

– Ну что тут рассказывать? Ворвался в дом молодой мужик. Не зашел, а именно что ворвался. Я спрашиваю: ты кто? А он вместо ответа кинулся на меня и – за горло.

– Что – так прямо сразу? С ходу?

– Сразу. С ходу.

– Он что-нибудь говорил?

Рука мужа вздрагивала под ее рукой, но пока ей удавалось ее смирить.

– Требовал денег, – все еще более-менее спокойно говорил Антон. – Я уже понял, что он не в шахматы играть пришел, и потому сказал: в пиджаке, у двери, в кармане. Он спросил: сколько? Я сказал: немного.

Тоня знала, что будет дальше.

«Мне немного не надо! Мне надо много!» – закричал пришелец. Оторвав руки от горла, рванул на муже рубашку. А потом... несколько раз ударил его по лицу. Он же не знал, что делать этого не стоило ни в коем случае. Этого муж не мог позволить никому и никогда...

Было время, когда этого не знала и сама Тоня. Но ведь – жизнь вместе прожили, поневоле пришлось узнать.

Про войну Антон вспоминать не любил, но однажды, когда приехала дочь с внуками и они сильно за столом расшались, он смотрел-смотрел на них, да и начал вдруг рассказывать. Как был таким же несмышленным пацаненком, как они, только жил не в городе, а в деревне; пас коров, лошадей в ночное гонял, но школу все-таки кончил, и совсем неплохо. Думал: вот теперь в город и поеду, если не в институт, так хоть в училище поступлю. А тут – война, Гитлер на Россию напал. И вместо города он опять попал в деревню, потому что их, желторотых новобранцев, привезли в одно из сел Саратовской области и в спешном порядке стали обучать военному делу. Строй, рытье окопов, оружие.

– Строй – понятно, рытье окопов – тоже. А оружие? – спрашивал старший из внуков. – Какое оружие-то?

– Противотанковое ружье, – довольный вниманием, разъяснял рассказчик. – Дегтяревское однозарядное – разок можно в немца пальнуть, пятизарядное симоновское – пять раз в немца бабахнешь. Ружьецо не из легких – только вдвоем и могли его поднять.

Но главная трудность, – поняли вскоре слушатели, – была для молодого бойца не в этом. Главная трудность была – тон старшины, которым тот отдавал приказы. Тон был – безапелляционный и диктаторский. Вот его-то новобранец Антон Воронич и не мог выносить. Произнесенные таким тоном приказы он не только не спешил выполнять, но и старался все делать им наперекор. А результат был: «Рядовой Во-

ронич – наряд вне очереди... Два наряда... Три наряда...»

Пришел день, когда солдатиков погрузили в эшелоны и повезли по направлению к Москве. Враг от столицы был уже отброшен; в вокзальном ресторане бойцов хорошо покормили, и опять – в эшелон. Теперь он следовал к фронту. Будущие вояки смотрели в окно и видели сожженные деревни – в большинстве из них улицы обозначали не дома, а уцелевшие после пожаров остовы печей. На одной из станций, вблизи Белоруссии, поезд остановился, и дальше новобранцы стали передвигаться пешим ходом. Чем ближе была передовая, тем чаще их бомбили. Они уже усвоили: если в небе появилась «рама» – через несколько минут жди «мессершмиттов». После одной из бомбежек от сорока бойцов-бронбойщиков осталось... четыре человека. Их приписали к пулеметному стрелковому дивизиону, и новый вид оружия – пулемет – они осваивали уже в боях. Тогда же сержанту Вороничу присвоили звание старшины и назначили командиром пулеметного расчета. Тут он уже и сам начал осваивать диктаторские нотки. Потому что начал понимать, какая это жестокая штука – война. Этой жестокости можно было противопоставить только железную дисциплину, иначе...

– Ну, все поняли про дисциплину? – решила прервать рассказ мужа непринужденным вопросом Тоня, поскольку внуки сидели непривычно притихшие, ей даже показалось – несколько придавленные рассказом деда. И тот легко пошел ей навстречу:

– Дисциплина – штука необходимая при определенных обстоятельствах. Военных – в первую очередь. Но сейчас же не война. И не пора ли нам, баба Тоня, переходить к торту?

За столом опять стало шумно и весело. А она, Тоня, сидела и думала: о, знали бы дорогие внучата, каким взрывным бывает иной раз их дорогой дедушка... И все по той же причине – не терпит, если в его присутствии кого-то унижают, посягают на чье-то достоинство. А уж если затрагивают его самого...

Собственно, именно это месяц назад и произошло.

...И когда дело доходило до вопроса следователя: «Каковы были ваши действия?» – в доме вмиг возникла взрывная волна:

– А схватил бутылку да и хряснул его по дурной башке!

Следователь – терпеливый и вежливый человек – осторожно говорил:

– Но вы должны были отдавать себе отчет...

– Какой отчет?! – уже бушевал Антон, и Тоня готовила аппарат для измерения давления. – В чем – отчет? Я что, должен был ждать, пока он меня удушит? Война научила меня оставаться живым в любых обстоятельствах, а не подставлять свою шею всякому...

Тоня уже не просто гладила его руку – молила:

– Антош, Антош, успокойся.

Но вдруг и сама закричала на молоденького следователя:

– Вы что – не понимаете, что он его действительно бы уду-

шил?

Следователь после таких бесед смущался, уходил, а она с помощью пилюль и капель возвращала себя и мужа в нормальное состояние.

Эта злополучная бутылка... Хотя почему – злополучная? Разве не должны были они с мужем отметить один из самых дорогих своих праздников – День Победы? На митинг сходить не пришлось, так хоть дома посидеть по-человечески. Они и посидели. Они ведь не только о том, как познакомились, вспоминали. Накануне в дом принесли районную газету, и в ней была заметка про Антона – коротенькая такая заметка, сообщавшая о том, что «житель нашего района, бывший фронтовик, командир пулеметного расчета А. В. Воронич участвовал в одной из тяжелейших фронтовых операций – форсировании Днепра. На западный берег реки нашим бойцам перебраться удалось, но наступления вперед не получилось. Противостояние немецких и наших войск длилось с октября сорок третьего по март сорок четвертого года».

– Противостояние – это как? – спросила она в тот вечер мужа. – Торопиться нам особо уже некуда. Так что давай рассказывай: вы и немцы что – полгода друг против друга стояли?

– Да нет, – начал он неохотно, – не стояли – сидели. Или лежали. Каждый в своих окопах.

– Но как это можно – полгода в окопах? – недоумевала

она. Антон смотрел на нее удивленно, словно не ему, а ей предстояло отвечать на его вопрос.

– Ты знаешь, я теперь и сам не знаю, как... Ну, вырыли мы траншеи, установили на брустверах пулеметы. Кое-где по линии обороны соорудили блиндажи – хиленькие, не особо укрепленные. У немцев все было по-другому: на блиндажи они разбирали крепкие крестьянские избы. А с нашей стороны все уже было сожжено и порушено.

– А питались как? – не могла не задать Тоня типично женского вопроса.

– Утром – котелок похлебки и кусок хлеба. Вечером – то же самое. Умывались снегом. Завшивели за зиму до невозможности. Но однажды по траншеям разнеслась радостная весть: баня приехала! Нас отвели в лощину и выдали по... тазику горячей воды. Мылись, боясь расплескать хотя бы каплю. Зато белье получили новое!

Тоня старалась понять: тазик горячей воды – один раз за все полгода. Спят на снегу, хоть и в валенках, в ватниках...

– А весной? Весне вы обрадовались, конечно? – пыталась она задним числом найти светлое место в воспоминаниях мужа.

– Весной окопы стало заливать водой. То хоть на сухом спали, а тут... По ночам вычерпывали воду касками, а она все прибывала и прибывала. Валенки хлюпали, полушубки набухли влагой и стали противно скользкими.

Тоня подошла к окну и молча показала в темноту кулак.

Жест предназначался дому напротив. В доме напротив жила молодая семья: муж, жена, их грудной ребенок и старая женщина, мать мужа. «Тонь, займи до пенсии пятисоточку, надо передачку собрать»... Сколько этих пятисоточек передала Тоня соседке – не сосчитать. Какие из них возвращались, какие нет – учета не вела. Понимала: невестка в декрете, пенсия у Степаниды невелика, а Славка очередную отсидку отбывает. Чем малое дитя кормить? Да и сына, какой бы он ни был, хочется порадовать хорошим кусочком сала и вкусной папироской. А главное – Тоня знала, что это такое – когда кто-то из родных в тюрьме. Так что чувства соседки она хорошо понимала. Не понимала ее сына, Славку.

Это он, Славка, преследовал ее по дороге на базар и с базара. Это он ворвался в их дом. Это он, молодой бугай, душил старого человека.

А не узнала она его тогда потому, что два года не видела. Из мест заключения Славка вернулся совсем другой. Изменился человек. И не только внешне. И не в лучшую, как оказалось, сторону...

– Антонина Васильевна, постой-ка!

Катерина Петровна, такая же, как и она, учительница на пенсии, остановила ее на середине пути с рынка. Тоня с облегчением поставила тяжелую сумку на землю.

– Ну, как там ваши дела-то? Как себя чувствует Антон

Васильевич?

– Сотрясение вылечили, а глаза болят. Даже телевизор смотреть не может – про политику только слушать теперь приходится.

– Но надо же что-то делать...

– Вера Геннадиевна советует в область еще раз съездить. Я и сама понимаю: надо, – но, как нарочно, именно на день приема назначено судебное заседание.

– Постой, постой... А Света? Светлана Георгиевна? Она служит в суде секретарем.

Светлана Георгиевна когда-то работала в школе библиотекарем, теперь вот – в суде. «Свой человек» непременно должен им помочь, – решили пенсионерки. Вот почему Катерина Петровна уверенно заявила:

– Непременно ей позвоню, узнаю, нельзя ли это самое заседание на другой срок перенести.

Помолчав, задумчиво протянула:

– Нет, но Сла-а-вка... Учили, учили, дурака, всему светлomu да хорошему. А он, говорят, уже не только пьет – наркоманит. А наркоманы – они ради дозы на что угодно пойдут...

Вернувшись с базара, Тоня быстренько сварила суп с потрошками. Сели обедать.

– Может, хотя бы Любе сообщим? – решила еще раз спросить мужа.

– Зачем? – стоял тот на своем. – Чего ее расстраивать? Скоро сама с ребяташками придет. Тогда и расскажем.

С первым мужем Тоня чего разошлась? Кто-то брякнул в школе, казалось бы, об уже забытом: что она – сестра врага народа. И муж, заместитель директора ковровой фабрики, начал попрекать: я с тобой так и просижу всю жизнь в замах. С такими-то твоими родственниками. Ну, она и освободила его от себя. От себя и от своей биографии.

«Добрые» люди и Антона в свое время пытались вразумить: «Ты что – она же сестра врага»... «Ну, не она же сама», – не дожидаясь конца фразы, отшучивался он. Отшучивался, а она ждала: когда заколеблется? Когда отвернется?

Не заколебался. Не отвернулся. И она, чувствуя это и мысленно за это благодаря (в своей жизни они старались обходиться без словесных сантиментов), решила написать письмо в соответствующие органы. И неожиданно получила ответ, из которого явствовало, что ее брат с началом войны был отправлен на фронт в составе штрафного батальона, где и погиб в 1942 году...

Вообще, с тех пор, как в доме появился Антон, из дома ушел страх. И поселилась радость. Тоня обнаружила со временем, что все свои девчоночьи секреты дочь, Танюшка, стала доверять не ей, а ему, отчиму. Да и отчиму ли? Однажды взяла для проверки дочкину тетрадь и обнаружила на обложке: «Для работ по русскому языку ученицы пятого класса Воронич Татьяны». Вот так: по собственному разумению

взяла и поменяла фамилию на ту, которая ей стала роднее...

И даже свой уже не девчоночий, а девичий секрет она доверила первому ему же, Антону: влюбилась, кажется. Кажется, замуж пойду... А жениху во время регистрации заявила: «Я тебя очень люблю, Николай, но фамилию оставляю свою – Воронич». И теперь муж у нее – Шабров, и двое детей – Шабровы, а она – Воронич...

– Вера Геннадиевна советует опять в областную больницу ехать, – вернулась из воспоминаний Тоня. – И как раз в тот день, когда будет суд.

Зазвонил телефон – Катерина Петровна словно подгадала к нужному моменту. Выслушав ее, Тоня вернулась к мужу:

– Катерина Петровна сказала, что судебное заседание может состояться и без нас. Надо только заявление написать.

– Ну и давай напишем. Пусть решают без нас.

В областной больнице мужа опять положили на обследование. Антонина Васильевна упростила положить и ее: ну куда он без жены, почти невидящий? На заключительном осмотре их принимал сам заведующий отделением. Внимательно просмотрев карту больного и побеседовав с ним, он неожиданно заявил:

– Давайте и вас заодно посмотрю, Антонина Васильевна. Антон Васильевич, вы не возражаете? Тогда подождите в коридоре.

Тоня вывела мужа из кабинета, усадила на лавочку. Вер-

нулась назад.

– Если я не ошибаюсь, вы ведь тоже делали у нас операцию, Антонина Васильевна?

– Делала. Два года назад.

– И как?

– Слава Богу, прооперированным глазом вижу неплохо. А вот другим...

– Рискнем со вторым?

– Нет, доктор. Мне сейчас не до себя. Мне его хочется сделать зрячим.

Оказалось, на столе, в числе других, лежит и ее карточка. Задумчиво полистав ее, доктор («Да Юрий Васильевич же!» – вспомнила она, потому что еще тогда, два года назад, отметила про себя: надо же, зовут, как брата) опять спросил:

– Высокое давление бывает?

– Наверное.

– То есть как – наверное?

– А я его никогда не мерю. Станет плохо – лягу, полежу, а потом говорю себе: вставай, Тоня, твои дела за тебя никто делать не будет. И потихонечку, полегонечку...

– Я смотрю, вы и аварию пережили? Компрессионный перелом четырех позвонков?

– Было дело... Ничего, выкарабкалась. Знаете, я до сих пор на перекладине качаюсь. Березку делаю. Как это теперь говорят? Поддерживаю форму!

– ...в восемьдесят пять лет? Не верю.

Тоня, ни слова не говоря, встала и легла на коврик посреди кабинета. Обычно перед тем, как сделать березку, она делала разминку – несколько предварительных упражнений. А тут – раз! – напряглась и (хорошо, что в брюках приехала) подняла ноги вверх, уперлась руками в поясницу («в то, что когда-то было талией», – шутила она по этому поводу). Доктор изумленно смотрел на нее, потом развел руками.

– Знаете, я окончательно уверился в том, что вы сильная женщина. Значит, я могу вам сказать... правду.

– Говорите, доктор, – не стала тянуть паузу Тоня.

– Операцию вашему супругу делать нельзя – в силу его возраста и физиологических показаний. Но и говорить ему об этом вряд ли целесообразно. Он, конечно, тоже человек сильный – ветеран войны, ветеран труда. Но... Всякое бывает. Узнает человек правду, опустит руки – и наши усилия сойдут на нет. А если поддерживать в нем дух, то, возможно, начнется процесс регенерации сетчатки. Несколько дней мы вас полечим здесь. А продолжать лечение будете дома.

Юрий Васильевич помолчал.

– Вы поняли, в чем теперь заключается ваша задача?

– Я поняла, доктор. Я постараюсь.

Чего-чего, а стараться ей не привыкать...

Вернувшись из области, узнали о решении суда: сосед получил три года заключения в колонии строгого режима. Катерина Петровна на то заседание ходила. Она же рассказы-

вала подробности:

– Если бы не эта бутылка – ему, подлецу, больше бы дали. А тут Славкин защитник взялся доказывать: истец проявил агрессию, он сам мог покалечить подсудимого. Но прокурор правильно сказал: истец защищал себя. Это была необходимая самооборона.

Катерина Петровна даже рассердилась:

– Да и какой бы он был фронтовик, если бы не смог защитить себя?! А вот Славка – тот форменный подлец: нет бы покаяться, он еще принялся кричать: «Эти фронтовики зажрались! У него пенсия такая, что пятерых прокормить можно! А мне троих не на что!...»

В ту ночь они с мужем долго не могли уснуть. Тоня уже и валерьянкой напоила и его, и себя, и фенозепам приняли – сон все равно не шел.

– Хоть от пенсии отказывайся, – вздыхал в темноте Антон.

– Еще чего выдумал! – возмутилась Тоня. – Ты что – один такой? Ты что ее – за так получил?

Молчали. Она решила, что с мужем надо поговорить о чем-нибудь постороннем, далеком от сегодняшнего дня. Доктор что говорил? Поддерживать боевой дух... Она и спросила о далеком, но этим далеким почему-то опять оказалась война.

– Ну, полгода в окопах вы тогда промучились. А дальше-то что было?

На этот раз муж не стал скупиться на воспоминания:

– Дальше началось наступление. Наше наступление. Сначала по всему фронту, как и положено, прошла артподготовка. Потом двинулась вперед пехота. За ней – танки. Наступать с нашими станковыми пулеметами было не очень-то сподручно – тяжеловаты. Но ничего: где танкисты на броне подбросят, где сами поднапряжемся... Так и дошли до Минска. Потом пришел черед освобождать Гродно. Этот пришлось брать дважды: к городу подобрался поздно вечером, немцев выбить удалось, но дальше, за Неман, они нас не пустили. Пришлось отойти к польской границе. А потом опять – к той же цели... Снова завязался бой. Немцы наш расчет засекли, открыли прицельный огонь. Один боец погиб сразу, двое – в том числе я – были ранены.

Антон вдруг замолчал. Решал задачу: надо ли рассказывать жене о том, что было дальше?

...Бойцы оттащили его, командира, в лес, а сами – опять в бой, который вскоре перешел в наступление. И он остался в том лесочке один. Стоял июль, нещадно палило солнце. Сам себе перевязал, как смог, обе ноги – левой рукой. Потому что правая висела, как плеть. Потрогал ее – и прикосновения не почувствовал. Начал руку щипать – сначала слабо, потом сильнее. И опять ничего не почувствовал. Зато синела она на глазах. Стало понятно: все, руку уже не спасти...

Санитары нашли его через шесть часов. Еще через час он лежал на операционном столе в полевом госпитале. На лицо набросили полотенце, пропитанное какой-то жидкостью...

Когда очнулся в палате от наркоза, обнаружил, что правой руки нет. Рядом лежал боец – у того не было ноги. Зато было чем утирать слезы. Но он их не вытирал – светлые капельки падали и падали на подушку. А он свои слезы сумел удерживать и сказал – неожиданно даже для себя самого: «Слушай, а может, нам повезло? Живые ведь остались»...

В том, что ему действительно повезло, он убедился гораздо позднее, когда увидел будущую свою жену, Тоню, на автобусной остановке. Стоит себе птичка-невеличка, росту – метр без кепки, а глазенки шустрые, умные, независимые. Протез его она заметила не сразу, а когда заметила, ни выражения лица, ни тона не изменила – голос ее не стал ни жалостливым, ни унылым. И он вдруг понял: так это же хорошо! Значит, она не делает ему никаких скидок, относится не как к калекке увечному, а как ко всякому другому бы отнеслась. То есть – как к равному.

Он ведь чего боялся больше всего? А – как другие будут его воспринимать. Ведь без руки он стал уже как бы нецелый... неполноценный...

И вот встречается молодая женщина, да еще учительница, и никакого снисхождения ему не делает...

– ...А дальше, Тонь, все тебе известно: был ранен, отлежал в госпитале, вернулся домой. Жена к тому времени завела себе другого. И я понял, что надо начинать жизнь заново. Прежде всего о профессии надо было подумать, и я решил пойти на курсы бухгалтеров. Тут и с одной рукой управиться

можно. Устроился было работать в торговлю, да тут пришло письмо от фронтового товарища: «Вернули из эвакуации завод, приезжай, работы много». Я и приехал. И однажды, по дороге на работу, встретил на автобусной остановке тебя. И знаешь, чем ты меня покорила? Тем, что, заметив протез, в лице не переменялась. Меня и осенило: эта ни жалеть, ни скидок делать не будет. Зато и не предаст никогда!

Теперь молчала Тоня. Вспоминала первые годы их совместной жизни. Поначалу ей казалось – мягче и податливеей характера, чем у Антона, и быть не может. Придет с работы, постучит по пустой кастрюле, а она: «Вон сколько тетрадей сегодня проверять, начинай мыть картошку». Он помет, она почистит, вскоре сидят, ужинают; они с дочкой болтают обо всем на свете, она молчит, отходит от школьного шума и гама...

Со временем стало понятно: он мягкий-мягкий, да... упертый! Сколько раз директор школы предлагал: давайте школьников организуем, пусть они вам уголь в сарай перетаскают. И огород вскопают заодно. Да и траву перед домом скосят. Не-е-т, никогда не соглашался! Ответ был один: я сам! Все сам: и дрова одной рукой научился колоть, и бревна двуручной пилой пилить. Прибил к ручкам планочку, она и перестала вихляться. И ведь не ради того, чтобы кому-то что-то доказать, все это делал. А – чтобы доказать самому себе: я такой же, как все! Неурезанный. Полноценный. Только Татьяночке и позволял помогать – на прополке огорода, на по-

ливе грядок. Это уж когда вырос Вася – вдвоем и колоть, и пилить стали...

И что еще муж взял для себя за правило – никогда не выходить на люди без протеза. Взял – и никогда это правило не нарушал.

Так что еще неизвестно, кто кого теперь поддерживать будет.

Сегодня, похоже, придется оказывать помощь ей...

У бывшей учительницы Антонины Васильевны была привычка: как бы ни устала за день, но вечером, помыв после ужина посуду, непременно садилась в кресло с газетой. Ни одной статьи на тему образования она, хоть и давно не работала в школе, не пропускала. Вот и на этот раз принялась читать, увидев под материалом регалии автора: доктор педагогических наук, профессор. Начало статьи вызвало только огорчение: профессор констатировал, что современный студент филологического факультета может сделать в коротком сочинении двадцать ошибок. У студентов, – сетовал автор, – исчезла главная мотивация к учебе – стремление узнать что-то новое. Им теперь важнее не знания, а только одна их область: как быстрее – и больше – заработать денег. И не важно, на каком поприще, при какой профессии – лишь бы бабло платили... Поморщившись от нечаянно произнесенного про себя слова (вот, уже и она вплела в свою речь словечко из современного лексикона...), Тоня с горечью согласи-

лась: профессор, как это ни печально, прав. Недавно смотрела по телевизору передачу: у молоденькой девушки поинтересовались, за кого Наташа Ростова вышла замуж. «За Пушкина?» – на полном серьезе спросила она в ответ.

Словом, с началом статьи Антонина Васильевна согласилась. Но дальше...

Выход из ситуации профессор предлагал странный: наполовину сократить количество вузов, а значит, и студентов. Тоня и сама согласна: пеньки – вот кто чаще всего кончает сейчас вузы. За экзамены платят, за дипломы платят, а приходят на работу – и толку от них... Самое же главное – из малообразованных людей легко делать пешки. Их и сейчас – пруд пруди, но кому-то очень хочется, чтобы пешек стало еще больше. Не случайно же автор (по чьей указке?) предлагает это дело узаконить: «...надо быть готовыми к тому, что в скором времени все, кому повезет стать студентом, должны будут за учебу платить. Как „у них“... Далее шли сожаления: конечно, это скажется на расслоении общества... мы идем к формированию элиты, среднего класса и люмпенизированной массы, образовательный уровень и культура которой будут снижаться и снижаться...

Вот тут она уже взорвалась: это что же – возвращаться к тому, от чего ушли?! Опять элита и – быдло?!

– Я перестала понимать время, Антон! Я не понимаю этого автора. Мы всегда гордились нашим бесплатным образованием. Мы с Шурой только потому и стали учителями, что

родителям за наше обучение не надо было платить. Наша профессия нас кормила, одевала и – радовала.

Всю свою трудовую жизнь Тоня проработала учительницей начальных классов. Она была убеждена: маленькие дети – лучшие люди в мире! Не только свои, родные, но все вообще! Ее всегда умиляло, как первоклассничек пишет – не рукой, а всем своим маленьким тельцем: начинает пальчиками, потом – глядишь – потянулся за черточкой или крючком, приподнялся над партой, высунул от усердия язычок...

Родителям своих учеников она всегда говорила: «Пожалуйста, не кричите на детей! Не ругайте их! Этим самым вы убиваете в них уверенность в себе, а без нее – как ему, маленькому человечку, становиться большим?» И не просто большим, то есть взрослым, но еще и гражданином большого государства. Совсем недавно это государство называли великим...

Оказывается, она не просто думала, а произносила свои мысли вслух. И муж не замедлил откликнуться.

– Великим? – с горечью переспросил Антон. И – с еще большей горечью: – Того государства уже давно нет, Тоня. Мы свое дело сделали, а вот правильно нашей победой распорядиться...

Но она, не слушая, продолжала свое:

– Выходит, теперь маленького человечка пестовать ни к чему? Если, конечно, он не принадлежит к элите. А если у ребеночка способностей – через край, да у родителей нет де-

нег, чтобы за его учебу платить? Куда мы идем, Антон? Почему государству стало выгодно формировать пешек?

Ответить муж не успел – зазвонил телефон. Оказалось – Татьяна. И, взвинченная статьей, Тоня не выдержала:

– Таня, доченька, мы все тебе врем! Все у нас плохо!

Антон протестующе замахал руками, но она принялась выкладывать все, как есть. Дочь долго не могла поверить: Славка? Тот мальчик напротив?

– Мальчик! У этого мальчика уже свой мальчик! Ты скажи лучше, что делать с отцом?

Выслушав отчет о хождениях по больницам, дочь подвела итог:

– По-моему, вы все сделали правильно. И все-таки я схожу еще в одно учреждение... там работает дочкина подруга...

– Давай, подключайся.

– А Васе вы не сообщали?

– А чем он поможет из своей Читы?

Антон протянул руку к трубке: ну дай же и мне сказать...

– Таня, доченька, ты не переживай. Мама преувеличила: не так все и плохо. Ну, видеть стал хуже, так врачи подлечат. Ты, главное, не переживай.

– Я постараюсь, папа.

В эту ночь они опять долго не могли уснуть.

– Нет, отчего они такие вырастают? – спрашивала темноту Тоня. – Ведь в первый класс приходят – только что не ан-

гелочки. Взять того же Славку...

Всякого ответа ожидала от мужа, только не этого.

– А ты знаешь, он ведь правду сказал, Славка-то. Семью не на что содержать. Работу в поселке найти трудно. А когда в жизни нет главного, тянет на всякую ерунду.

– Ну уж нет, я его оправдывать не намерена! Ты одной рукой свою семью кормил. А у него их две. Вот головы – точно не хватает!

Выпалив эти слова, Тоня словно разрядилась от жгучей, душащей ее обиды и следующую фразу сказала уже более спокойно:

– Слушай, Антон... А вот если бы тогда, в сорок третьем, когда вы сидели-бедовали в окопах, тебе бы сказали: тот, ради кого ты все это терпишь, ради кого руку потом отдашь – после войны придет и будет тебя душить... ты бы поверил в это?

Чтобы ответить, мужу не понадобилось и секунды:

– Так ведь мы ни о чем постороннем тогда не думали, Тонь. Мы думали... Знаешь, когда я очнулся от наркоза после операции, ну, там, в прифронтовом госпитале, то всех вокруг себя утешал. А чем утешить себя – не знал. И тут один из обитателей палаты, увидев, как я поглядываю на пустой рукав, сказал: «Чего переживаешь-то? Ты что – кур ловил и на этом потерял руку? Ты – Родину защищал!» Громко, конечно, сказано, но... с тех пор, как я увидел войну собственными глазами, меня не покидало чувство: если мы фашистов

не остановим, то будет конец всему – нашему государству, нашему народу... да всей истории нашей. И так, наверное, думал не только я.

Тоня слушала, не перебивая. Такая ночь, возможно, уже не повторится. Такие слова – тоже.

– Никогда тебе этого не рассказывал, а сейчас... Знаешь, как мы шли на форсирование Днепра? Ночью, тихо, чтобы ни звяк, ни бряк. Ни звука чтобы. А выругаться хотелось: ноги то и дело обо что-то спотыкались, что-то мешало нам идти – мягкое такое, в себя словно затягивающее. Не сразу, но поняли: идем по трупам. По телам тех, кто шел на форсирование реки до нас. Шел, да не дошел! И ты знаешь – не было почему-то ни страха, ни отчаяния, одна только ненависть к захватчику, посягнувшему на нашу реку. Ненависть – и желание во что бы то ни стало реку вернуть – для себя, для детей, для внуков. Наша же река! Мы должны ее вернуть – даже если и нам придется заплатить за это жизнью!

Антон остановился, чтобы перевести дух. Да и не слишком ли патетической становится его речь? И уж совсем ни к чему знать жене о другом его воспоминании: о том, как впервые увидел в тыловом госпитале «самогара» – человека, лишившегося на войне и рук, и ног. Кажется, чем такого можно утешить? Он тогда нашелся. Он сказал: «Не горюй! В жизни осталось еще много хорошего. Тишину будешь слушать – мы ведь уже отвыкли от тишины. На небо будешь смотреть. На вишни, которые весной зацветут, а потом нальются алым

COKOM»...

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.